

A photograph of a small, two-story wooden house in a foggy, rainy environment. The house has a dark, gabled roof and a small square window in the attic. The main floor has two windows; the left one is lit from within, and a small light fixture is mounted on the wall between the two windows. The white paint on the house is heavily peeling and cracked, revealing the dark wood underneath. The ground in front of the house is wet and reflective, mirroring the light from the window. A dark fence is visible to the right of the house. The overall atmosphere is somber and quiet.

Юрий Курышев

Доза
ТИШИНЫ

Юрий Курышев Доза Тишины

<https://litres.ru/74224194>

Аннотация

Иногда убегая от себя можно найти покой там, где иные видят только гибель!

Пролог

Я лежал и слушал, как в батареях шуршит воздух. Звук был похож на дыхание астматика — неровное, с присвистом, с задержками, во время которых тишина в комнате сгущалась до звона в ушах. За окном шел дождь, но здесь, на пятом этаже хрущёвки, он звучал глухо, как сквозь вату. Я ощущал каждую нить простыни, влажную от ночного пота, и то, как подушка продавливается под тяжестью затылка. В висках стучало — не от похмелья, не от болезни, а от ясности, слишком резкой, чтобы выносить её без желания разбить голову о стену.

Кто я такой, чтобы бежать в Зону? Обычный парень. Двадцать три года, среднее специальное, руки из плеч, лицо незапоминающееся, фамилия — Петров, имя — Алексей. Таких — вагон и малая тележка. Но внутри меня жила пустота, которую не заполняли ни водка, ни бабы, ни разговоры на кухне до утра. Эта пустота имела вкус — железный, как от старой водопроводной трубы, и звук — тот самый гул батарей, умноженный на бесконечность.

Я не искал приключений. Я хотел тишины. Настоящей. Той, что накрывает, как колокол, и не требует от тебя слов. Ещё в школе, на уроке физики, учитель рассказывал про зону абсолютного молчания в горах, где слышно, как течёт кровь в капиллярах. Запомнил. В Зону отчуждения я бежал не за артефактами — плевать мне было на радиоактивный хлам, который можно толкнуть. Я бежал от людей. От их го-

лосов. От запаха их тел в переполненном автобусе. От фальшивых улыбок продавщиц. От бесконечного «как дела?», которое не предполагает ответа. Бежал от себя — того, кем я стал в этом бетонном лабиринте окраинного города, где единственным событием за неделю была драка в ларьке.

В то утро я встал с кровати и босиком пошел на кухню. Линолеум лип к подошвам — мать снова жарила рыбу, не открывая окна. Я открыл холодильник: пусто, только трехлитровая банка с остатками компота, на дне которой разбухли сливы. Свет лампочки осветил мои ноги — бледные, с синими прожилками вен. Подумал: вот так выглядит тело человека, который никуда не идёт. Кожа, мышцы, кости — всё это существует без смысла, просто биология, топка для дешёвой еды. Захлопнул дверцу, и холодильник вздрогнул, заурчал. Этот звук показался мне оскорбительным.

Знал, что такое Зона. Не по историям, не по байкам. По выпускам новостей, которые показывали в конце восьмидесятых, когда мне было четырнадцать. Вертолёты, солдаты в ОЗК, эвакуация. И ещё — по фотографии в журнале «Огонёк»: пожилая женщина сидит на завалинке покосившейся хаты, в руках — икона, а за спиной — серый прямоугольник саркофага. Подпись гласила: «Самосёлы. Они вернулись». Помню, как тогда у меня засосало под ложечкой. Не от страха — от странного, почти религиозного трепета. Эти люди сделали то, что я не мог: они выбрали реальность, какой бы ядовитой она ни была, вместо имитации жизни.

С тех пор прошло семь лет. Я вырос, отучился, поработал грузчиком, сторожем, автослесарем. Спился, почти женился, передумал. И всё это время где-то на дне сознания пульсировала мысль: там, за колючей проволокой, существует место, где нет вранья. Нет этих бесконечных очередей за сахаром, нет предвыборных плакатов с обещаниями, нет начальников, нет подчинённых. Есть только земля, пропитанная цезием, и тишина, которая убивает — медленно, но честно.

Начал готовиться за месяц до побега. Не потому, что боялся радиации — её я как раз уважал за честность. Радиация не лицемерит. Она не говорит: «Я тебе друг». Она просто есть. Убивает без ненависти и милует без любви. Мне нужно было понять, как пройти. Достал карту — обычную, топографическую, купленную в магазине «Спорттовары» за три рубля. На ней Зона была обозначена пустым пятном. Но я знал: пустота на карте — это самое наполненное место на земле.

Сталкеры — так называли тех, кто уже ходил туда. Не герои, не романтики. В основном — отчаявшиеся мужики, которые тащили всё, что плохо лежит: оставленную бытовую технику, металл, иногда — опасные находки вроде батареек с плутонием. Я не осуждал их. Каждый выживает как может. Мне просто было не по пути с ними. Я искал не наживы. Я искал дозу тишины — ту, которая перекрывает внутренний гул.

Накануне отъезда я зашёл в церковь. Не потому что верил — скорее по инерции, как заходят в аптеку перед дальней дорогой. Храм был пуст, пахло воском и пылью. Я купил свечку, поставил перед образом Спаса Нерукотворного. Огонёк дрожал, отражался в тёмном лике. Стоял и ждал, когда внутри что-то отзовётся. Не отозвалось. Только холод каменной под ногами и лёгкий сквозняк от двери. Вышел, сунув руки в карманы, и подумал: мой храм — там. В месте, где церкви стоят пустые, с выбитыми окнами, и только ветер поёт в них литургию.

Ночью я почти не спал. В голове прокручивались сценарии: задержат, обстреляют, облучишься и сдохнешь в ближайшей канаве. Но ещё страшнее было остаться. Остаться — значило признать, что эта серая жизнь и есть единственно возможная. Сдаться. Я не мог. Во рту пересохло, язык шершавый, как наждак. Встал, на ощупь нашёл кружку, глотнул тёплой воды из-под крана. Хлорка обожгла горло. Вкус города — мой последний глоток перед долгой жаждой.

Оделся в темноте: джинсы, свитер грубой вязки, куртка с капюшоном. Ботинки — старые, разношенные, но крепкие. В рюкзак положил две буханки чёрного хлеба, банку тушёнки, фонарь, запасные батарейки, коробок спичек в целлофане, пачку «Примы», самодельный дозиметр ДП-5В, который я купил за бесценок у дембеля из химвойск. Прибор был громоздкий, с длинным щупом, но работал — противно трещал даже от фосфорных спичек. Ещё я взял тетрадь в клетку и

огрызкок карандаша. Зачем — сам не знал. Может, чтобы записывать то, что увижу. А может, чтобы оставить след, если сгину.

Мать спала. Я постоял у двери её комнаты, слушая дыхание — ровное, с лёгким присвистом. Прощаться не стал. Слова здесь были лишними. Она бы не поняла, а я не смог бы объяснить. Я просто прикрыл входную дверь — без стука, без щелчка замка, — и шагнул в подъездную вонь.

Электричка на Чернигов отходила в 6:12. Купил билет до станции Янов — той самой, что обслуживала ЧАЭС, — хотя знал, что поезд дальше Славутича не пойдёт. Контролёрша, полная женщина с лицом, измятым жизнью, мельком глянула на меня и прошла мимо. В вагоне пахло карболкой и дешёвым табаком. Сел у окна, прижался лбом к стеклу. За окном проплывали серые поля, перелески, полустанки с покосившимися названиями. Пространство сжималось, уступая место какому-то иному измерению — измерению ожидания.

Попутчики менялись. В основном — дачники с узлами, бабки с рассадой, мужики с похмелья. Один, с синюшным носом и дрожащими руками, подсел напротив и долго смотрел на мой рюкзак.

— В поход? — спросил он сипло.

— В поход, — ответил я и отвернулся.

Врать не пришлось. Это действительно был поход. Только маршрут вёл в один конец.

На станции я сошёл почти последним. Воздух здесь был

другим — влажным, с примесью прелых листьев и близкой реки. До границы оставалось около пятнадцати километров пешком. Знал точку — село Губин. Там, по рассказам, в колючей проволоке была дыра, проделанная не то сталкерами, не то самими военными для своих нужд. В середине девяностых охрана периметра была уже не та, что после аварии. Посты сократили, колючку не обновляли. Люди уходили из армии, не выдерживая нищенского жалованья. Зона зарастала быстрее, чем её успевали охранять.

Шел по просёлочной дороге мимо заброшенных полей. Под ногами чавкала грязь, смешанная с жухлой травой. В висках снова стучало, но теперь — от ходьбы. Пот пропитал свитер, лип к лопаткам. Я чувствовал, как трутся друг о друга рёбра при каждом вдохе. Тело, ещё недавно казавшееся мне тюрьмой, вдруг ожило, заработало — поршни, рычаги, насосы. Слышал его скрипы и стуки, как слышат работу старого мотора. И это было хорошо.

Лес начался внезапно. Дорога нырнула в сумрак, пахнуло сыростью и грибами. Включил фонарь — свет выхватил стволы сосен, покрытые лишайником. Тишина здесь сгустилась: ни птиц, ни шороха листьев, только мои шаги, хруст веток и дыхание. Остановился перекусить. Отломил кусок хлеба, жевал долго, запивая водой из фляжки. Хлеб был кисловатый, крошки прилипали к нёбу. Я думал о том, что это, возможно, моя последняя трапеза «на этой стороне». Мысль не пугала.

Где-то через час я вышел на опушку. Впереди, в сгущающихся сумерках, темнела полоса кустарника, за которой угадывался просвет. Достал карту, сверился с ориентирами. Губин должен быть левее, метрах в трёхстах. Пошел вдоль опушки, пока не заметил покосившийся столб с обрывком провода. Сердце ёкнуло: здесь.

Я присел на корточки, вглядываясь в сумрак. Вот она — колючая проволока, провисшая, местами порванная. Никакой сигнализации, никаких вышек. Только ветер гудит в стальных нитях, заставляя их петь на низкой, утробной ноте. Достал дозиметр, включил. Прибор ожил, стрелка дёрнулась и замерла на отметке 30 мкР/ч — норма, чуть выше естественного фона. Радиация не кричит, она шепчет.

Я подполз ближе. Проволока царапнула рукав. Я отодвинул её, пролез под нижней нитью, чувствуя, как мокрая трава холодит живот. Рюкзак зацепился, я рванул — ткань затрещала. И вот я внутри.

Первое, что я почувствовал, — не страх, не облегчение. Пустоту. Но не ту, что мучила меня в городе. Эта пустота была наполнена. Каждый звук — шорох мыши в траве, далёкий крик птицы, скрип сухой ветки — обретал объём, вес, значение. Воздух пах иначе: прелой листвой, влажной землёй, чем-то сладковатым, почти тошнотворным, как запах разложения, прикрытый цветочным ароматом. Стоял на четвереньках в мокрой траве и не мог пошевелиться. Меня накрыло.

Тишина. Та самая. Она не была абсолютной — в ней жили звуки. Но они не нарушали её, а, наоборот, подчёркивали, как капли дождя подчёркивают глубину ночи. Закрыл глаза, и перед внутренним взором поплыли круги — то ли от усталости, то ли от накатившего чувства, которое я могу назвать только одним словом: «смирение». Здесь не было Бога в привычном понимании — с бородой, на облаке. Здесь была сила, равнодушная и всепроникающая, как радиация. Она принимала всё: жизнь, смерть, отчаяние, надежду — без оценок, без суда.

Поднялся, отряхнул колени. В горле першило. Закурил, прикрывая огонёк ладонью, хотя вокруг не было ни души. Табак горчил, дым обжигал лёгкие — живое, тёплое ощущение. Я подумал: вот он, первый вдох Зоны. Не отравленный, не радиоактивный — простой дым дешёвой сигареты, но здесь он значил больше, чем все молитвы, прочитанные в детстве.

Ноги сами понесли меня вглубь. Знал, куда идти: на северо-восток, к Припяти. Но сейчас я просто брёл, увязая в сырой земле, и впитывал этот новый мир каждой клеткой. Ветки хлестали по лицу, оставляя влажные следы. Слизывал капли с губ — дождевая вода пополам с древесной горечью. В какой-то момент я споткнулся о корень и упал, ударившись коленом о камень. Боль была острой, настоящей. Я лежал, уткнувшись лицом в мох, и смеялся беззвучно, потому что наконец-то чувствовал себя живым.

Потом я встал и пошёл дальше. Где-то впереди, за деревьями, угадывался просвет — поляна или дорога. Я не знал, что ждёт меня там. Но знал точно: обратного пути нет. Не потому что граница закрыта. А потому что человек, пересекавший эту черту, уже не может стать прежним. Нес в себе дозу тишины, и она уже начала действовать, меняя химию крови, перестраивая нейроны, выжигая всё наносное.

Глава 1. Точка невозврата

Шел уже около часа, может, двух. Время здесь текло иначе — густое, как кисель, оно не поддавалось измерению. Часы на левой руке, старенькие «Полёт», показывали половину одиннадцатого, но стрелки могли врать: механизм барахлил ещё до того, как я пересёк границу, а теперь, в пропитанном влагой воздухе, он и вовсе мог остановиться. Я не проверял. Какая разница, который час, если каждый миг длится вечность?

Лес кончился внезапно. Деревья расступились, и я вышел на край заросшего поля. Впереди, метрах в трёхстах, темнели крыши — деревня. Настоящая, мёртвая деревня, из тех, что десятками рассыпаны по тридцатикилометровой зоне. Знал: здесь таких сотни. Копачи, Залесье, Чистоголовка, Новосёлки — названия, которые больше не значат ничего, потому что улицы, обозначенные этими словами, пусты. Стоял на краю поля и вглядывался в тёмные провалы окон. Ни огонька, ни дыма, ни движения. Только ветер раскачивает старую яблоню у крайней хаты, и ветви скребут по гнилой

дранке крыши.

Закурил вторую сигарету за сегодня. Табак уже не горчил — он просто давал лёгким работу. Дым смешивался с туманом, поднимавшимся от мокрой травы. Смотрел на деревню и думал: вот оно, моё первое испытание. В городе я ненавижу людей, но здесь, перед лицом абсолютного отсутствия, я вдруг ощутил странный холодок под ложечкой. Не страх. Скорее, узнавание. Так бывает, когда долго смотришь в зеркало и вдруг перестаёшь узнавать собственное лицо.

Двинулся вперёд. Поле было изрезано колеями — когда-то здесь ездили трактора, потом военные грузовики, потом уже никто. Земля под ногами пружинила, как торфяник. В низинах стояла вода — ржавая, с радужной плёнкой. Обходил лужи, стараясь не поскользнуться. Кроссовки давно промокли, пальцы ног онемели от холода. Тело требовало тепла, еды, покоя — но сознание, наоборот, требовало движения. В этом конфликте плоти и духа рождалось странное, почти медитативное состояние: я существовал сразу в двух мирах — в мире усталых мышц и в мире бескрайней, как степь, пустоты.

Деревня приближалась. Теперь я различал детали: поваленный плетень, за которым когда-то был огород, покосившийся колодезный журавль, пустая собачья будка с обрывком цепи. Все предметы здесь казались не просто брошенными — они казались остановленными на полужесте. Как будто жизнь ушла отсюда не постепенно, а в один момент,

по чьей-то команде, и вещи замерли в недоумении. Подошёл к первой хате. Дверь была приоткрыта. Я толкнул её, и она подалась с долгим, стонущим скрипом.

Внутри пахло прелью и мышами. Свет сочился сквозь щели в ставнях, рисуя на полу полосы. Посередине комнаты стоял стол, накрытый выцветшей клеёнкой. На столе — глиняная миска, ложка, стеклянная банка с чем-то тёмным. Подошёл ближе. В банке были вишни — усохшие, почерневшие, но ещё сохранившие форму. Компот, закатанный на зиму. На зиму 1986 года. Стоял и смотрел на эти вишни, и в горле у меня встал ком — не от жалости, а от какого-то почти физического ощущения времени. Время здесь не текло — оно стояло, как вода в болоте, и эти вишни были его пленницами.

Вышел из хаты, прикрыв дверь — зачем-то, из уважения. Двинулся дальше по улице. Дома стояли вразнобой — одни ещё крепкие, другие уже рухнувшие крышами. В окнах кое-где сохранились стёкла, но чаще зияли чёрные дыры. Заглянул в одно из окон. На подоконнике лежала книга — раскрытая, страницы вздулись от сырости. «Мать» Горького. Зачем-то я запомнил это.

Где-то в глубине деревни залаяла собака. Замер. Сердце бухнуло в грудную клетку раз, другой, и затихло. Собака? Здесь? Стоял не дыша, вслушиваясь. Лай повторился — хриплый, неуверенный, как будто пёс сам не верил, что ещё жив. Пошел на звук. Он привёл меня к покосившейся хате

на окраине. Во дворе, у старой будки, стояла собака — дворняга с выпирающими рёбрами и свалявшейся шерстью. Она смотрела на меня жёлтыми глазами и не лаяла больше — только дрожала всем телом.

Я присел на корточки, протянул руку. Собака попятилась, оскалилась — беззвучно, без рыка. Достал из рюкзака кусок хлеба, разломил, бросил ей. Она недоверчиво обнюхала подачку, потом схватила и проглотила, почти не жуя. Бросил ещё. И ещё. Она ела жадно, давясь, и всё время косилась на меня — ждала подвоха. Но подвоха не было. Я просто сидел на корточках в мёртвой деревне и кормил мёртвую собаку, и в этом простом действии было больше смысла, чем во всех моих городских метаниях.

— Ну что, пёс, — сказал я вслух, и собственный голос показался чужим, слишком громким. — Тоже остался? Или вернулся, как я?

Собака не ответила. Она доела хлеб, облизнулась и ушла в будку — туда, где было тепло и темно. Поднялся, отряхнул колени. Мысль о том, что я не один, странным образом успокаивала. Не один в том смысле, что есть ещё живая душа, пусть и собачья, пусть и обречённая. Мы оба были здесь по своей воле — или по воле чего-то большего, что не спрашивает согласия.

Провёл в деревне ещё час. Обследовал несколько домов — скорее из любопытства, чем из нужды. В одном нашёл чугонок, покрытый ржавчиной, в другом — связку сухих трав

под потолком (мята? полынь?), в третьем — пачку старых писем, перевязанных бечёвкой. Я не стал их читать. Чужие слова в этом месте казались святотатством. Я просто положил письма на стол и вышел.

Уходя, я оглянулся. Деревня молчала. Собака больше не лаяла. Только ветер всё так же раскачивал яблоню, и ветви терлись о крышу с монотонным, убаюкивающим звуком. Запомнил это место. Не знаю зачем. Может быть, чтобы когда-нибудь вернуться — если будет куда и если будет кем.

Дорога вела дальше, на северо-восток. Шел по старому асфальту, разбитому гусеницами военной техники. В трещинах росла трава, кое-где — молодые берёзки толщиной в руку. Природа брала своё: асфальт крошился, дома гнили, металл ржавел. Через десять, двадцать, пятьдесят лет здесь не останется ничего, кроме леса и радиации. Эта мысль должна была бы пугать, но вместо этого я чувствовал странное спокойствие. Мир без человека — не мёртвый мир. Он просто другой. И в этом «другом» было что-то почти притягательное.

Через пару километров я вышел к реке. Карта говорила, что это Припять — та самая, что петляет через всю зону и даёт имя городу. Река была широкая, тёмная, с низкими берегами, поросшими ивняком. Вода текла медленно, маслянисто поблёскивая на стремнине. Спустился к берегу, присел на корточки, зачерпнул воду ладонью. Холодная, чистая на вид. Поднес к лицу, понюхал. Пахнет рекой — илом, ры-

бой, мокрой травой. Ничего химического, ничего подозрительного. Но я знал: радиация не пахнет. Она растворена в этой воде, в этом иле, в этой траве. Она везде.

Умылся. Холодная вода обожгла кожу, смыла пот и дорожную пыль. Я тёр лицо ладонями, размазывая грязь, и чувствовал, как просыпаются нервные окончания. Тело благодарило за эту малость. Потом я набрал полную флягу — на всякий случай, хотя пить эту воду не собирался. Запас у меня был, но кто знает, что ждёт впереди.

Сидел на берегу и смотрел на реку. В городе я никогда не смотрел на воду. Некогда было. А здесь — смотрел и не мог оторваться. Вода текла и текла, равнодушная ко всему, что случилось на этих берегах. Она несла в себе стронций и цезий, и ей было всё равно. Равнодушие природы — вот что я чувствовал кожей, сидя на этом берегу. И оно парадоксальным образом успокаивало. Не потому что я разделял это равнодушие, а потому что понимал: мир не враг тебе, но и не друг. Он просто есть. И ты есть в нём — на краткий миг, на одну вспышку сознания между рождением и смертью.

Достал дозиметр, включил. Прибор затрещал — чаще, чем на границе. Стрелка поползла вправо: 80, 100, 120 мкР/ч. На берегу фон был выше. Я отодвинулся от воды, поднялся на склон — показания снизились до 60-70. Норма для Зоны. Не смертельно, но и небезопасно. Каждый час здесь — это накопленная доза, которая останется в костях, в крови, в лёгких. Я выключил дозиметр, убрал в рюкзак. Цифры ни-

чего не меняли. Я пришёл сюда не за безопасностью.

Солнце перевалило за полдень и теперь висело низко над лесом — бледный диск в серой пелене облаков. Прикинул расстояние: до Припяти оставалось километров десять, может, двенадцать. Если идти без остановок, к вечеру буду на месте. Но я не хотел идти без остановок. Я хотел растянуть это время — время, когда каждый шаг был открытием, а не рутиной. В городе я жил как во сне. Здесь я просыпался, и пробуждение было мучительным, как выход из наркоза.

Поднялся на ноги и пошёл дальше, вдоль берега. Тропа вилась среди ив, ветки хлестали по плечам. В какой-то момент я вышел на поляну, посреди которой стоял остов автомобиля — «Жигули» шестой модели, без колёс, без стёкол, с проржавевшим кузовом. Капот был открыт, двигатель отсутствовал. Кто-то снял его на запчасти — может, сами хозяева перед эвакуацией, может, мародёры позже. Заглянул в салон: сиденья вздулись от сырости, на полу — слой прелых листьев. На заднем сиденье лежала детская кукла — грязная, с оторванной рукой, но всё ещё улыбающаяся нарисованной улыбкой.

Я отвернулся. Не потому что стало страшно. Просто такие находки били под дых точнее любой радиации. Они напоминали: здесь жили люди. Обычные люди с детьми, с планами, с дурацкими ссорами и тихими радостями. Они собирались жить долго. Они не знали, что апрельской ночью мир перевернётся. Закурил, глядя на лес. Дым уносило ветром в сто-

рону реки.

Именно в этот момент я впервые чётко сформулировал мысль, которая зрела во мне с самого начала: Зона — это не территория, обнесённая колючей проволокой. Зона — это люди. Те, кто ушёл отсюда в апреле 86-го, оставив всё. Те, кто вернулся — вопреки запретам, вопреки здравому смыслу. Те, кто ходит сюда сейчас за металлом и артефактами. И такие, как я, — бегущие от себя. Мы все — часть этой земли. Мы несём её в себе, как радиацию в костях. И выкинуть это нельзя. Можно уйти за периметр, можно уехать в другой город, можно даже попытаться забыть — но Зона останется. Будет сниться ночами, будет пахнуть мокрой травой в случайном сквере, будет звучать треском дозиметра в телефонной трубке.

Сел на землю, прислонившись спиной к дереву, и закрыл глаза. Перед внутренним взором поплыли лица: мать, так и не понявшая, куда я ушёл; девушка, которую я почти любил; одноклассники, оставшиеся в прошлом. Они все были «там» — в мире, который я добровольно покинул. И я вдруг остро, до рези в животе, ощутил разрыв между ними и мной. Не физический — метафизический. Как будто, перейдя границу, я пересёк невидимую черту, отделяющую живых от... нет, не от мёртвых. От иных. От тех, кто выбрал реальность, какой бы горькой она ни была.

Достал тетрадь, раскрыл на первой странице. Карандаш замер над бумагой. Что писать? «Дорогой дневник, сегодня

я пересёк границу»? Глупость. Я не за этим сюда шёл. Я пришёл не фиксировать, а проживать. Но рука сама вывела несколько слов:

«Здесь тихо. Так тихо, что слышно, как растёт трава». Я перечитал написанное и усмехнулся. Пафосно. Но правдиво. Здесь действительно было слышно, как растёт трава — если не ушами, то кожей, костями, каждым нервом. Закрыв тетрадь, убрал в рюкзак.

Ближе к вечеру я вышел к дороге, ведущей на Припять. Настоящий асфальт, ещё не до конца разбитый, с выцветшей разметкой. По обочинам стояли указатели, но буквы стёрлись от времени. Знал этот маршрут по карте: дорога проходила через несколько деревень и упиралась в городскую черту. До темноты оставалось часа два. Прибавил шаг.

Ощущение дороги под ногами — вот что я запомнил. Твёрдое покрытие после многих часов болотной жижи казалось благословением. Шел и шёл, мерно, как машина, и в голове было пусто. Ни мыслей, ни тревог — только шаг, вдох, выдох, шаг. Так, наверное, чувствуют себя паломники на пути к святыне: тело движется само, а дух витает где-то впереди, уже у цели.

На подъезде к городу меня встретил первый знак беды — КПП. Брошенный, разумеется. Бетонные блоки, шлагбаум с облупившейся краской, будка с выбитыми стёклами. На стене будки кто-то написал мелом: «Здесь был Лёха, 1993». Под надписью — ещё одна, другим почерком: «Лёха, ты дурак».

Я улыбнулся. Жизнь пробивалась даже сюда, в самое сердце Зоны, в виде дурацких надписей на стенах.

За КПП начинались первые дома Припяти. Я узнал их по фотографиям, которые видел в журналах. Девятиэтажки с тёмными провалами окон, пустые балконы, на одном — покосившаяся спутниковая тарелка. Улицы заросли травой, кое-где деревья пробивались сквозь асфальт. Шел по центральному проспекту — широкому, пустому, с фонарями, которые никогда больше не зажгутся. Тишина здесь была иной, чем в лесу. Там она была природной — с шорохом листьев, с пением птиц. Здесь она была рукотворной. Город, построенный для пятидесяти тысяч человек, молчал. Молчали окна, молчали подъезды, молчали детские площадки с ржавыми качелями. Даже ветер здесь звучал глухо — как будто пространство давило на барабанные перепонки.

Остановился посреди площади. В центре её стояла стела с гербом города, рядом — доска почёта с выцветшими фотографиями. Лица передовиков производства смотрели в пустоту. Подошел ближе. Молодые парни и девушки в комсомольских значках, с улыбками, полными надежд. Где они сейчас? Кто-то умер, кто-то уехал, кто-то спился. А кто-то, возможно, до сих пор работает на станции — на других блоках, которые запустили после аварии. Я не знал. Но я чувствовал связь с этими людьми — невидимую нить, протянувшуюся через годы.

Сумерки сгущались. Нашел подъезд с незаколоченной

дверью и вошёл внутрь. В подъезде пахло сыростью и кошками. Ступени лестницы были усыпаны штукатуркой. Поднялся на пятый этаж — машинально, как будто вернулся домой. Дверь одной из квартир была приоткрыта. Вошел.

Квартира как квартира. Прихожая, кухня, две комнаты. На кухне — газовая плита, выцветшие занавески, пустая банка из-под растворимого кофе. В комнате — диван, телевизор на тумбочке, книжный шкаф с книгами. Я провёл пальцем по корешкам: «Три товарища» Ремарка, «Аэлита» Толстого, сборник стихов Евтушенко. Хозяева были читающими людьми. Я взял «Трёх товарищей», полистал. Из книги выпала фотография: мужчина и женщина на фоне колеса обозрения, смеются. Вложил её обратно, закрыл книгу.

Сел на диван. Пружины скрипнули под моим весом. В окно светила луна — бледная, равнодушная. Достал дозиметр: 150 мкР/ч. Многовато для ночлега, но выбора не было. Лег, подложив рюкзак под голову. Сон не шёл. Я лежал и слушал тишину — ту самую, за которой пришёл. Она была плотной, почти осязаемой. В городе я мечтал о ней. Здесь я получил её — и не знал, что с ней делать. В какой-то момент я услышал звук. Тихий, едва различимый — как будто где-то далеко плакал ребёнок. Сел на диване, вслушиваясь. Звук повторился. Нет, не ребёнок — это ветер застрял в вентиляционной шахте и выл на одной ноте. Выдохнул, лёг обратно. Сердце колотилось где-то в горле. Вот оно что: тишина здесь не была пустой. Она была наполнена призраками — призра-

ками звуков, призраками воспоминаний, призраками людей, которых я никогда не знал.

И я понял ещё одну вещь. Зона не отпускает не потому что за периметром колючка. А потому что, войдя сюда однажды, ты навсегда остаёшься её частью. Ты можешь уйти физически — но внутри, под сердцем, будет сидеть заноза. Доза тишины, полученная здесь, меняет химию души. И я уже чувствовал, как она начинает свою работу.

Закрыв глаза и провалился в сон — тяжёлый, без сновидений, как в детстве после долгого дня. Последней мыслью было: «Здесь. Я дома». И хотя слово «дом» резануло своей неуместностью, я не стал его прогонять. Пусть остаётся. В конце концов, кто решает, что называть домом, а что — нет?

Проснулся я от холода. Луна всё так же висела в окне, но воздух в квартире выстыл до дрожи. Сел, растирая плечи. Зубы выбивали дробь. Часы показывали начало четвёртого — если верить стрелкам. Достал из рюкзака свитер, натянул поверх куртки. Лучше не стало. Вышел на балкон. Город лежал подо мной, залитый лунным светом. Белые коробки домов, чёрные провалы окон, серый асфальт проспекта, тёмная зелень парка. Всё это было похоже на декорацию — слишком правильную, слишком безлюдную, чтобы быть реальной. Стоял и смотрел, и в груди росло странное чувство — смесь восторга и тоски. Восторга — потому что я был здесь, в сердце Зоны, в месте, о котором читал и мечтал. Тоски — потому что это место было мёртвым, и никакие мои мечты не могли

его оживить.

Закурил прямо на балконе, пуская дым в ночное небо. Где-то далеко, за лесом, должен был быть саркофаг. Я не видел его отсюда, но знал: он там. Серый бетонный куб, внутри которого покоится расплавленное сердце реактора. Я думал о людях, которые строили его — ликвидаторах. Они работали посменно, по несколько минут, получая смертельные дозы радиации. Многие умерли. Остальные живут с отметиной в паспорте и в крови. Они тоже часть Зоны. И я, стоя на балконе чужой квартиры в мёртвом городе, чувствовал себя их наследником — недостойным, случайным, но наследником.

Сигарета догорела. Я бросил окурочок вниз — он полетел, кувыркаясь, и исчез в темноте. Пора было двигаться дальше. Я вернулся в квартиру, собрал рюкзак, проверил дозиметр: 120 мкР/ч. Фон упал — возможно, из-за того, что я был на пятом этаже, дальше от земли. Или просто прибор чудит. Я не стал гадать.

Выходя из квартиры, я оглянулся. На стене в прихожей висел календарь за 1986 год — апрельская страница с портретом Гагарина. Дни были аккуратно зачёркнуты до двадцать пятого числа. Двадцать шестое осталось чистым. Смотрел на этот календарь и думал: вот она, точка невозврата. Для этих людей. Для всей страны. Для меня, тогда ещё мальчишки, который ничего не знал о Зоне и не мог представить, что однажды придёт сюда искать тишину.

Вышел из подъезда в ночь. Город молчал. Шел по про-

спекту, и шаги гулко отдавались от стен. Впереди, на фоне светлеющего неба, угадывался силуэт колеса обозрения — того самого, с фотографии. Я направился к нему. Не знаю зачем. Может быть, чтобы встать там, где стояли те двое — мужчина и женщина, которые смеялись, не зная, что через несколько недель их жизнь оборвётся. А может, просто чтобы зафиксировать момент. Чтобы сказать себе: я был здесь. Я видел это. Я прожил это.

Парк аттракционов встретил меня ржавыми остовами машинок, покосившимся тиром, пустыми ларьками. Колесо обозрения возвышалось над всем этим — огромное, неподвижное, с кабинками, застывшими в разных точках круга. Подошел к основанию, положил ладонь на холодный металл. Краска облупилась, обнажив бурый слой ржавчины. Стоял так минуту, две, пять — не считал. Просто впитывал это место, этот момент, эту холодную реальность, которая была честнее всего, что я знал раньше.

Когда я обернулся, горизонт уже светлел. Начинался мой первый полный день в Зоне. Я не знал, сколько их будет — пять, десять, вся оставшаяся жизнь. Но я знал точно: назад дороги нет. Не потому что нельзя пройти периметр. А потому что человек, увидевший этот рассвет над мёртвым городом, никогда не станет прежним. Закинул рюкзак на плечо и двинулся в сторону саркофага. Где-то там, за деревьями, за рыжим лесом, лежала моя следующая остановка — место, где тишина становится абсолютной, а радиация обретает го-

лос. Шел и молчал. Говорить было не с кем. Да и незачем.

Глава 2. Картография побега

Шел по проспекту Ленина. Вернее, по тому, что от него осталось. Асфальт вздыбился корнями деревьев, проросших сквозь него, как вены проступают сквозь стареющую кожу. В трещинах стояла вода — вчерашний дождь смешался с пылью, с частицами почвы, с тем, что нельзя увидеть глазом, но можно замерить прибором. Включил дозиметр, просто чтобы услышать его голос. Треск стал чаще: 180, 200, 220 мкР/ч. Ближе к центру фон рос. Я выключил прибор — не из страха, а из нежелания отвлекаться на цифры. Цифры были из того, прошлого мира. Здесь они значили не больше, чем показания барометра перед грозой.

Улица вывела меня к центральной площади. Я узнал её по фотографиям: гостиница «Полесье», серый прямоугольник в девять этажей, с пустыми глазницами окон, и Дом культуры «Энергетик» с мозаичным панно на фасаде — рабочий, колхозница и атом, расщеплённый на мирные осколки. Мозаика сохранилась, только краски потускнели, покрылись сетью микротрещин. Стоял и смотрел на этот атом — символ силы, которая вышла из-под контроля и сожрала всё вокруг. Ирония была слишком горькой, чтобы улыбаться.

В гостинице решил устроить днёвку. Не потому что устал — тело, наоборот, вошло в ритм, — а потому что нужно было систематизировать увиденное. Карта, которую я нёс в рюкзаке, была неточной: на ней не значились ни эта гости-

ница, ни этот ДК, ни колесо обозрения, ни брошенные «Жигули» с куклой на заднем сиденье. Карта была мёртвой. А мне нужна была живая карта — та, что рождается из шагов, из прикосновений, из страха и восторга. Хотел нанести на неё не дороги и реки, а другое: точки напряжения, места, где воздух становится плотным, где тишина звенит, где дышится иначе. Картографию души, если угодно.

Вошел в гостиницу через разбитую дверь парадного. Вестибюль встретил меня запахом плесени и старой штукатурки. На стене висел стенд «Лучшие работники месяца» — фотографии горничных, портье, официантов. Все они улыбались. Прошел мимо, поднялся по лестнице на третий этаж — не хотелось высоко, не хотелось низко. Выбрал номер с приоткрытой дверью, толкнул её. Комната была стандартной, как в любой советской гостинице: две кровати с панцирными сетками, тумбочка, стол, стул, на окне — выцветшие шторы. На столе стояла пепельница из толстого стекла — чистая, как будто её только что вымыли перед моим приходом. Сел на кровать, пружины скрипнули, и этот звук показался мне приветствием.

Достал тетрадь, раскрыл на чистой странице. Карандаш замер над бумагой. Я не знал, с чего начать. Как описать то, что не имеет названия? Как зафиксировать чувство, которое ускользает, стоит только облечь его в слова? Сидел так, наверное, полчаса, глядя в стену. Потом рука сама вывела: «Карта Зоны. Версия первая, рабочая».

Я начал чертить. Не линии дорог и контуры зданий — это было бы слишком просто. Я чертил круги: первый — внешний, тридцатикилометровая зона, периметр, который я пересёк вчера. Второй — десять километров, зона безусловного отчуждения, куда я входил сейчас. Третий — сама станция, чёрный квадрат в центре, сердце всего. Вокруг кругов я писал слова, которые приходили в голову: «тишина», «страх», «присутствие», «память». Это была не карта местности. Это была карта состояний.

Потом я начал заполнять её деталями. Деревня, где я встретил собаку — отметил крестиком, подписал: «первая живая душа». Берег Припяти — «вода, которая помнит». Дорога — «путь без обратного билета». Припять — «город-сон». Каждая точка была не географией, а впечатлением, врезавшимся в память. Я понимал, что со стороны это выглядит безумием — сидеть в брошенной гостинице посреди радиоактивной пустыни и чертить круги в тетради. Но мне было плевать. Я делал то, что имело смысл только здесь и только сейчас.

Захлопнул тетрадь, закурил. Дым слоился в воздухе, подсвеченный солнцем из окна. В городе я курил нервно, заглатывая дым, как лекарство. Здесь я курил медленно, смакуя каждый вдох, потому что здесь дым был частью тишины, а не бегством от неё. Я думал о том, что сталкеры, о которых рассказывали на «большой земле», ходили сюда с конкретной целью: найти, вынести, продать. Они рисковали ради нажи-

вы, и это было понятно. Но мой случай был иным. Искал то, что нельзя вынести в рюкзаке. И это, пожалуй, пугало меня больше всего — не радиация, не патрули, не голод. А осознание того, что предмет моих поисков может не существовать вовсе.

Вышел из гостиницы ближе к полудню. Солнце стояло высоко, но не грело — ноябрьское солнце, белое, как разбавленное молоко. Пошел в сторону парка аттракционов, который видел на рассвете. При свете дня он выглядел иначе — не зловеще, а просто печально. Ржавые остовы машинок, пустые ларьки с облупившейся краской, колесо обозрения, застывшее, как остановившиеся часы. Подошел к колесу, положил ладонь на холодный металл. Краска потрескалась, обнажив ржавчину. Провёл пальцем по трещине — на коже осталась бурая пыль. Стёр её о штанину, подумал: вот так и мы — стираем с себя следы прошлого, а они всё равно остаются где-то внутри, въедаются в поры, в кровь, в память.

Пошел дальше, к стадиону. Трибуны заросли травой, на поле — молодые деревца, пробившиеся сквозь бетон. Ворота стояли без сеток, только рамы, покосившиеся, но ещё крепкие. Я представил, как здесь когда-то играли в футбол, кричали болельщики, продавали пирожки с ливером. Теперь здесь только ветер и тишина. Сел на скамейку, достал флягу с водой, сделал глоток. Вода была тёплой, с металлическим привкусом. Я пил медленно, чувствуя, как жидкость проходит по пищеводу, как она всасывается в ткани. Тело работа-

ло — и это было хорошо.

В какой-то момент я услышал шаги. Не ветер, не шорох листьев — именно шаги, человеческие, тяжёлые, с характерным хрустом гравия под подошвами. Замер, фляга застыла у губ. Сердце ударило в рёбра. Я медленно опустил флягу, повернул голову. Из-за трибуны вышел человек. Мужчина лет пятидесяти, в ватнике, в резиновых сапогах, с вещмешком за плечами. Лицо тёмное от загара и грязи, глаза прищурены. Он шёл прямо ко мне, не таясь, и в этом отсутствии страха было что-то почти пугающее.

— Здорово, — сказал он, остановившись в нескольких шагах. Голос был хриплым, но спокойным. — Ты кто такой будешь?

Поднялся. Колени чуть дрожали — не от страха, от неожиданности. Я ожидал встретить кого угодно: военных, мародёров, даже смерть в виде невидимого облака радиации. Но не человека, который идёт через мёртвый город так, как будто он у себя дома.

— Алексей, — ответил я. Имени было достаточно. Фамилия здесь не имела значения.

— Игнат, — сказал он и протянул руку. Я пожал её. Ладонь была сухой, шершавой, с вьёвшейся в кожу землёй. — Давно здесь?

— Второй день.

Игнат кивнул, оглядел меня с ног до головы — не оценивающе, скорее изучающе, как смотрят на новый предмет, ко-

торый может пригодиться, а может оказаться бесполезным. Потом он снял вещмешок, сел на скамейку рядом со мной, достал пачку «Беломора».

— Будешь?

Я взял папиросу. Табак был сухим, крошился на пальцы. Игнат чиркнул спичкой, дал мне прикурить, потом зажёг свою. Мы сидели молча, пуская дым в ноябрьское небо. Молчание было не неловким — оно было естественным, как будто мы были старыми знакомыми, которым не нужны слова.

— Зачем пришёл? — спросил он, не глядя на меня.

Задумался. Можно было соврать, сказать что-то про артефакты, про металл, про наживу. Но смысла врать здесь не было. Зона вытаскивает правду наружу — медленно, но неумолимо.

— За тишиной, — сказал я.

Игнат усмехнулся, выдохнул дым через нос.

— За тишиной, — повторил он, пробуя слово на вкус. — Ну-ну. Тишины здесь много. Только она не та, что ты думаешь.

— А какая?

Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел что-то, чего не видел ни у кого раньше. Не мудрость, не печаль — скорее знание, спокойное и тяжёлое, как вода в глубоком колодце.

— Тишина здесь — она живая, — сказал он. — Она говорит. Только не словами. Она говорит через вещи. Через

дома. Через землю. Через вот это, — он кивнул на колесо обозрения. — Ты думаешь, оно молчит? Оно орёт. Просто ты ещё не научился слышать.

Я не нашёлся с ответом. Смотрел на колесо, на его ржавые спицы, на кабинки, висающие в воздухе, как застывшие капли. Может, он прав. Может, каждая вещь здесь хранит память о том, что случилось, и если прислушаться, можно разобрать крики, смех, плач — весь тот шум, который ушёл отсюда вместе с людьми. Но я пока не слышал. Я только начинал учиться.

Игнат оказался самосёлом. Из тех, кто вернулся в Зону через год после эвакуации — не смог на чужбине. Он жил в селе Теремцы, что в тридцати километрах от станции, вёл хозяйство, держал коз и кур. В Припять ходил за вещами — иногда для дела, иногда просто так, по привычке. Он рассказывал о своей жизни спокойно, без надрыва, как о чём-то обыденном.

— А радиация? — спросил я.

— А что радиация? — он пожал плечами. — Она есть. Её не убрать. Но и её бояться без толку. Ты вот сюда пришёл — ты уже свою дозу принял. И я принял. И все, кто здесь, приняли. Это как налог. Платишь за право быть на своей земле.

Он говорил о радиации как о чём-то почти одушевлённом — не как о враге, а как о суровом соседе, с которым нужно научиться уживаться. Слушал и думал: вот оно, то самое отношение, которого мне не хватало. В городе я воспри-

нимал мир как враждебный — шумный, грязный, фальшивый. Здесь мир был опасным, но честным. И люди, живущие здесь, относились к опасности не с истерикой, а с пониманием. Они не проклинали Зону — они принимали её, как принимают неизлечимую болезнь или дурной характер близкого человека.

Мы шли с Игнатом через Припять вместе. Он показывал мне места, которые я не нашёл бы сам: бывшее кафе «Припять» на берегу реки, с пустыми столиками и ржавой стойкой бара; школу с разбросанными в коридорах противогазами — остатками учений, которые проводили уже после аварии, когда город был пуст; почтовое отделение, где на полу лежали мешки с неотправленными письмами. Каждое место он комментировал коротко, одной-двумя фразами, но в этих фразах была вся жизнь.

— Здесь мы с женой сидели. Вон за тем столиком. Кофе пили. Она говорила: давай уедем. А я: куда? У нас здесь всё.

Он замолчал, глядя на ржавую стойку, и я не стал спрашивать, что случилось с женой. И так было понятно: кто-то уехал, кто-то умер, кто-то остался только в памяти. Зона хранила не только вещи, но и судьбы.

Мы расстались у старого моста через Припять. Игнат пошёл на север, к себе в Теремцы, а я — на восток, к станции. На прощание он дал мне кусок сала, завёрнутый в тряпицу, и сказал:

— Ты, парень, вот что запомни. Зона — она не колючка.

Зона — это люди. Те, кто ушёл, и те, кто остался. Она из нас состоит. Из нашей памяти. Пока мы есть — и она есть. А кончимся мы — кончится и она. Будет просто лес, просто река, просто земля. Без смысла.

Я поблагодарил, сунул сало в рюкзак. Мы обменялись рукопожатиями — теперь уже как знакомые, почти свои. Игнат повернулся и пошёл по мосту, а я смотрел ему вслед, пока его фигура не растворилась в сером свете дня. Его последние слова крутились в голове: «Зона — это люди». Может быть, я и пришёл сюда, чтобы понять это? Может быть, тишина, которую я искал, была не в пустоте, а в присутствии — в тех, кто не ушёл, кто стал частью этой земли?

Продолжил путь. Дорога от Припяти до станции была знакомой по картам: около пяти километров на северо-восток, через лес, мимо так называемого Рыжего леса — участка, где радиация после взрыва была настолько сильной, что сосны погибли за одну ночь и приобрели бурый цвет. Знал, что приближаюсь к нему, по показаниям дозиметра: 300, 400, 500 мкР/ч. Стрелка ползла вправо, как будто её тянули невидимой нитью. Шел медленнее, стараясь не сходить с асфальта — обочины были грязными, а грязь, как известно, накапливает радионуклиды.

Рыжий лес я увидел издалека. Он стоял стеной — мёртвые стволы, лишённые коры, серо-бурые, как кости, торчащие из земли. Подлеска не было, трава не росла. Только голая, спекшаяся земля, покрытая трещинами, как старая гла-

зурь на горшке. Остановился метрах в ста от границы леса. Дозиметр зашёлся в истерике: 1000, 1200, 1500 мкР/ч. Я выключил его — треск стал невыносимым, он бил по нервам, как зубная боль.

Стоял и смотрел на этот лес. Он был страшен не своей мёртвостью — мёртвых деревьев я видел много. Он был страшен своей завершённостью. Здесь не было жизни, и не могло быть, и не будет — ещё сотни, тысячи лет. Это место стало памятником тому, что случилось в апрельскую ночь, и памятник этот был бессловесным, но красноречивым, как надгробная плита с одной только датой.

Подумал о тех, кто был здесь в первые дни. Пожарные, тушившие горящий реактор. Они стояли на крыше, поливая водой развал четвёртого блока, и получали дозы, которые убивали за часы. Они знали, на что шли? Наверное, знали. Но они не могли иначе. Не потому что были героями — героизм здесь был ни при чём. Просто так устроен человек: когда вокруг рушится мир, он делает то, что должен, даже если это бессмысленно, даже если это смертельно. И в этом есть какая-то страшная, непостижимая красота.

Я отвернулся от Рыжего леса и пошёл дальше. В горле стоял ком — не от радиации, не от усталости. От понимания. Зона была не просто местом катастрофы. Она была местом, где человеческое проявлялось в предельной, почти невыносимой ясности. Трусость и отвага, подлость и самопожертвование, страх и любовь — всё это здесь было обнажено до

костей, как эти деревья.

Станция показалась из-за деревьев внезапно. Сначала я увидел трубы — высокие, серые, с полосатой красно-белой маркировкой. Потом — корпуса, административные здания, ангары. И наконец — саркофаг. Объект «Укрытие». Серый бетонный куб, накрывший четвёртый энергоблок, как крышка накрывает кастрюлю с кипящим ядом. Он был огромен — гораздо больше, чем я представлял по фотографиям. И от него веяло силой — не радиационной, хотя она здесь зашкаливала, а какой-то иной. Силой человеческой воли, которая смогла возвести эту громадину за двести шесть дней, вручную, под бомбардировкой невидимых частиц.

Стоял на дороге и смотрел на саркофаг. В висках стучало, во рту пересохло. Дозиметр я не включал — боялся, что он просто сгорит. Знал, что здесь фон измеряется не в микро-, а в милириентгенах в час. Что каждая минута, проведённая у подножия станции, сокращает жизнь на дни, а может, и на недели. Но я не мог уйти. Я должен был увидеть.

Вокруг станции было пусто. Ни души, ни движения. Только ветер гудел в вентиляционных шахтах, издавая низкий, утробный звук — как будто сама земля стонала. Вспомнил слова Игната: «Она говорит. Только не словами». И я услышал. Не ушами — всем телом. Этот гул проходил сквозь меня, как радиация проходила сквозь бетон, воду, сталь, живую плоть. Он был голосом Зоны — не злым, не добрым, просто констатирующим факт: «Я есть. Ты есть. Мы здесь».

Сел на обочину, достал сало, которое дал Игнат, и хлеб. Ел медленно, чувствуя, как соль тает на языке. Еда была простой, грубой, но она наполняла тело теплом и силой. Я думал о том, что каждый кусок, который я глотаю, уже заражён — пыль, осевшая на продукты, воздух, которым я дышу. Я ел радиацию вместе с хлебом, и это не было ни подвигом, ни безумием. Это было просто частью бытия здесь.

Достал тетрадь, открыл на странице с картой. Добавил новый круг — вокруг станции — и написал: «Здесь говорит Бог. Или его отсутствие. Не разобрать». Потом подумал и дописал: «Но это неважно. Важно, что я слушаю». Закрыв тетрадь и долго сидел, глядя на саркофаг.

В какой-то момент я почувствовал лёгкое головокружение. Не сильное — так, будто выпил полстакана водки на голодный желудок. Знал, что это первый признак облучения. Тело сигнализировало: пора уходить. Но я остался ещё на час. Может, из упрямства. Может, из желания доказать себе, что я не боюсь. А может, из простого человеческого любопытства — увидеть то, что нельзя увидеть, понять то, что нельзя понять.

Когда я наконец поднялся и пошёл обратно, солнце уже клонилось к закату. Тени от труб и корпусов станции тянулись через дорогу, как чёрные пальцы. Шел и чувствовал, как каждый шаг отдаётся в костях глухой болью. Нет, не болью — скорее, напоминанием. Тело помнило каждую частицу, прошедшую сквозь него. Оно записывало их, как тетрадь

записывала слова.

Ночлег я нашёл в одном из домов на окраине Припяти. Это была пятиэтажка, похожая на ту, где я вырос, только мёртвая. Вошел в подъезд, поднялся на второй этаж, выбрал квартиру с целыми стёклами. Внутри было холодно, но сухо. Зажёг свечу — короткий огарок, который прихватил с собой из города. Свет колебался, рисовал на стенах дрожащие тени. Сидел на полу, привалившись спиной к стене, и записывал в тетрадь всё, что видел за день.

Писал я долго. Слова приходили неохотно, но я заставлял себя. Мне казалось важным зафиксировать это. Не для других — для себя самого. Чтобы когда-нибудь, когда я выйду отсюда (если выйду), я мог прочесть эти записи и вспомнить. Или чтобы тот, кто найдёт эту тетрадь, знал: здесь был человек по имени Алексей Петров, и он видел то, что видел, и чувствовал то, что чувствовал.

«Зона — не колючка, — писал я. — Зона — это люди. Те, кто ушёл, и те, кто остался. Те, кто умер, и те, кто ещё жив. Они все здесь. Их голоса в ветре, их следы в пыли, их лица в оконных стёклах. И я — один из них теперь. Часть этой земли, часть этой тишины. Я думал, что бегу от людей. А оказалось — бегу к ним. К тем, кто выбрал реальность вместо иллюзии. К тем, кто не побоялся радиации, потому что главный яд — он в душе, а не в воздухе.

Сегодня я видел сердце Зоны. Оно бетонное, серое, мёртвое. Но внутри него всё ещё бьётся что-то живое — невиди-

мое, неслышимое, но осязаемое. Как пульс в кончиках пальцев. Как дыхание спящего. Как надежда, которую не убить никаким стронцием».

Я перечитал написанное и усмехнулся. Слишком пафосно для парня, который ещё вчера не мог связать двух слов. Но здесь, в мёртвой квартире, при свете огарка, пафос не казался лишним. Он был формой выживания — способом придать смысл тому, что происходило. Затушил свечу, лёг на пол, подложив рюкзак под голову. В темноте звуки стали громче. Где-то в подъезде скрипнула дверь — наверное, ветер. Где-то наверху осыпалась штукатурка. Я лежал и слушал этот дом, и он казался мне живым — не мёртвым, а спящим. Как будто все его жители просто вышли на минуту и вот-вот вернуться. Но они не вернуться. Никогда.

Последней мыслью перед сном было: «Я иду дальше». Куда — я ещё не решил. Но карта, которую я чертил, становилась всё точнее. И на ней, кроме кругов и крестиков, появлялось что-то новое — что-то, чему я ещё не придумал названия. Может быть, вера. Может быть, смирение. А может, просто усталость — та, что приходит, когда долго идёшь к цели, которой нет на обычных картах.

Закрыв глаза. Тишина накрыла меня, как одеяло.

Глава 3. Последние вещи

Проснулся я от того, что замёрзли пальцы ног. Холод поднимался от бетонного пола, просачивался сквозь подошву ботинок, сквозь шерсть носков, сквозь кожу — и добирался

до костей. Сел, растирая ступни ладонями, и в полусумраке комнаты мои движения казались чужими, как будто руки принадлежали кому-то другому. За окном серело — то ли рассвет, то ли вечные сумерки Зоны, которые не различают времени суток. Я глянул на часы: половина восьмого. Стрелки ещё двигались.

Встал, размял плечи. Мышцы ныли после вчерашнего перехода, но это была приятная боль — боль живого тела, которому есть дело до самого себя. В городе я просыпался с тяжестью в голове и пустотой в животе, даже когда не пил. Здесь каждое утро начиналось с ощущения присутствия — как будто кто-то или что-то стояло за плечом и молча наблюдало, не вмешиваясь, но и не отворачиваясь. Зажёг огарок свечи. Пламя колебалось, тени на стенах дёргались. Достал из рюкзака остатки хлеба, кусок сала, флягу. Ел медленно, отрезая сало ножом тонкими полупрозрачными ломтиками. Соль хрустела на зубах, жир обволакивал язык. Я думал о том, что Игнат, отдавая мне это сало, отдавал часть своей жизни — в буквальном смысле. Продукты в Зоне не купишь, не достанешь по талонам. Здесь каждая крошка — это день существования. И он поделится. Почему? Может, увидел во мне что-то знакомое. Может, просто соскучился по человеческой речи. А может, самосёлы здесь устроены иначе: у них нет жадности, потому что нет смысла копить. Всё, что у тебя есть, может исчезнуть завтра — вместе с тобой.

Запил сало водой, вытер нож о штанину. Пора было ре-

шать, куда идти. Карта, которую я чертил вчера, лежала в тетради. Я раскрыл её, разглядывая круги и пометки. Станция — была. Припять — была. Рыжий лес — был. Но оставались пустые места, которые я не исследовал. Село Копачи, например. Или Чистогаловка. Или восточный сектор, где, по слухам, до сих пор стояли брошенные машины ликвидаторов и где фон был особенно злым. Я не знал, что ищу. Но знал, что поиск ещё не закончен.

Вышел из квартиры, спустился по лестнице. В подъезде было темно, пахло сырой извёсткой. На стене кто-то вывел краской: «Прости нас, Припять». Ниже — другое, другим почерком: «Не за что». Я постоял перед этой надписью, перечитывая её, как молитву. Кто эти люди? Когда они были здесь? Может, один из них — тот самый Лёха, чьё имя я видел на КПП. Может, другой — такой же беглец, как я, только на несколько лет раньше. Зона хранила их голоса, как стены храма хранят отзвуки песнопений.

На улице моросило. Мелкий дождь висел в воздухе, не падая, а как будто плавая, и оседал на лице, на одежде, на земле. Поднял капюшон, затянул шнурки. Воздух был влажным, с привкусом прелых листьев. Направился на юг, туда, где по моим расчётам должна была находиться Чистогаловка — ещё одна мёртвая деревня, ничем не примечательная, кроме того, что именно там, как рассказывали, жила самая большая община самосёлов в середине девяностых.

Дорога заняла часа три. Шел по старому асфальту, потом

свернул на просёлочную, потом — на тропу, едва угадывающуюся в траве. Лес вокруг был смешанным: сосны, берёзы, дубы. Здесь было больше жизни, чем возле Рыжего леса: пели птицы, шуршали в подлеске мыши, где-то далеко стучал дятел. Включил дозиметр: 80-100 мкР/ч. Приемлемо.

Чистоголовка открылась мне неожиданно. Лес кончился, и я вышел на пригорок, с которого открывался вид на десятка полтора хат, разбросанных вдоль петляющей речушки. Дым поднимался из одной трубы — тонкий, сизый, почти невидимый в сером воздухе. Сердце ёкнуло: люди. Настоящие, живые люди, которые топят печи и варят еду. Стоял на пригорке и смотрел на этот дым, и в груди росло странное чувство — не радость, не тревога, а скорее узнавание. Как будто вернулся туда, где никогда не был, но всегда должен был оказаться.

Спустился в деревню. Улица была пуста, но чувствовалось, что здесь живут: у некоторых домов стояли вёдра, у других — поленницы дров, накрытые клеёнкой. В огороде у третьего дома копошилась женщина в платке и телогрейке — полола грядки, не обращая внимания на дождь. Подошел ближе, кашлянул, чтобы обозначить себя. Женщина выпрямилась, посмотрела на меня. Ей было лет шестьдесят, может, больше — лицо изрезано морщинами, но глаза ясные, цепкие, не старые. Она не испугалась, не удивилась — просто оглядела меня, как оглядывают зашедшего во двор соседа.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здорово, — ответила она, вытирая руки о фартук. — Из города?

— Из города.

— Ну, проходи. Чего под дождём стоять.

Она пошла к дому, и я пошёл за ней. В сенях пахло сушёными травами и печным дымом. На стенах висели пучки зверобоя и мяты. В комнате было тепло, чисто, на столе стояла глиняная миска с варёной картошкой, накрытая полотенцем.

— Зовут как? — спросила она, усаживаясь на лавку.

— Алексей.

— А я — Анна Степановна, — она кивнула на стол. — Садись, ешь. Гость в дом — Бог в дом.

Сел, неловко подвинув табурет. Анна Степановна достала из печи чугунок с тушёной капустой, положила мне в тарелку, придвинула хлеб. Я ел, а она сидела напротив, подперев щёку рукой, и смотрела на меня — не с любопытством, а скорее с тихим удовлетворением, как смотрят на работающего, который наконец присел отдохнуть.

— Давно здесь? — спросил я, прожёвывая.

— С восемьдесят седьмого, — ответила она. — Сперва в Киев увезли, в общежитие. А потом я назад. Не могу там. Душно.

— Не страшно?

Она усмехнулась, и в этой усмешке было что-то древнее, бабье, идущее от тех поколений, которые пережили войны, голод, коллективизацию.

— А чего бояться? Смерти? Так она везде найдёт. Здесь хоть умру на своей земле. А там — на чужой.

Я отложил ложку. В горле встал ком — не от еды, от её слов. Она говорила о смерти так же просто, как о прополке грядок. И в этой простоте была сила, которой мне так не хватало. Я боялся смерти — не остро, не панически, но боялся. Здесь, в Зоне, смерть была повсюду, но именно это делало её чем-то обыденным, почти домашним. Как старую кошку, которая живёт в доме и которую рано или поздно придётся хоронить.

— А вы одна здесь? — спросил я.

— Нет, — она покачала головой. — Ещё Петрович с того конца, да Марья с сыном, да дед Гриша. Пять душ всего. Было больше, да поумирали. Кто от болезни, кто от старости. А кто и сам ушёл — не выдержал.

Она замолчала, глядя в окно. Дождь усилился, капли забарабанили по стеклу. Сидел и думал: пять душ. Пять человек на всю деревню, которая когда-то насчитывала сотни жителей. Они остались здесь не из упрямства и не из глупости. Они остались, потому что где-то на границе между жизнью и смертью нашли то, что мы, городские, потеряли: чувство корней. Они приросли к этой земле, и даже радиация не могла оторвать их.

— А вы... проверяетесь? — я не знал, как спросить деликатно. — Ну, здоровье?

Анна Степановна махнула рукой.

— Были врачи. Приезжали два года назад. Мерили, считали, кровь брали. Сказали: живёте вы, бабушка, с дозой. А я им: и слава Богу. Доза — она ведь что? Она внутри. А снаружи — воздух, земля, речка. Вот это моё лекарство.

Я не нашёлся с ответом. Она говорила вещи, которые преворачивали всё, чему меня учили. Радиация как лекарство? Абсурд. Но в её устах это звучало не как безумие, а как иная мудрость — та, что не укладывается в учебники и инструкции. Может быть, Зона действительно лечила? Не от рака, не от лучевой болезни — от другой, более страшной хвори. От пустоты. От фальши. От жизни, которая не стоит того, чтобы её проживать.

Я прожил в Чистогаловке три дня. Анна Степановна отвела мне пустую хату на окраине — там раньше жила её сестра, умершая год назад. Хата была маленькая, но крепкая: печь, стол, кровать с панцирной сеткой, икона в углу — Богоматерь с потрескавшимся ликом. Спал на этой кровати, топил печь по вечерам, слушал, как дождь стучит по крыше. И с каждым днём что-то во мне менялось — не резко, не драматично, а медленно, как меняется цвет листьев осенью.

В первый день я просто отсыпался. Во второй — пошёл знакомиться с остальными самосёлами. Петрович, сухой старик с прокуренными усами, жил на другом конце деревни с тремя козами и псом по кличке Дым. Он бывший лесник, знал Зону как свои пять пальцев. Рассказывал, где какой фон, где можно собирать грибы (и как их потом вымачивать,

чтобы стронций ушёл в воду), где водятся кабаны, а где лучше не ходить — потому что «земля голая, и дышать ею нельзя».

Марья жила с сыном-подростком, Витькой. Муж её умер два года назад — сердце. Она была молчаливой, но не угрюмой. Готовила еду, стирала в речке, чинила одежду. Витька помогал по хозяйству и смотрел на меня с любопытством — городской, молодой, почти ровесник. Я пару раз говорил с ним, но он отвечал односложно. Может, отвык от чужих. А может, просто не знал, о чём говорить с человеком, который ещё не понял главного.

Дед Гриша был самым старым — ему перевалило за семьдесят. Он почти не выходил из дома, сидел на завалинке, когда позволяла погода, и смотрел на дорогу. С ним я говорил всего раз, но этот раз запомнил навсегда.

— Ты зачем сюда пришёл? — спросил он, не поворачивая головы.

Я уже привык к этому вопросу. Игнату я ответил: «За тишиной». Анне Степановне — что-то про поиск смысла. Деду Грише я сказал правду — ту, которую сам только начинал осознавать.

— Я не знаю, — ответил я. — Может, за смертью. Может, за жизнью.

Он кивнул, как будто услышал именно то, что ожидал.

— Это одно и то же, — сказал он. — Здесь они рядом ходят. Смерть и жизнь. Как два сапога — пара. Ты поймёшь.

Если останешься.

Я не знал, собираюсь ли я оставаться. Я вообще ничего не знал о своём будущем — даже о завтрашнем дне. Но в этих трёх днях была полнота, которой мне не хватало за всю предыдущую жизнь. Я просыпался — и знал, что день будет настоящим. Что каждый час, каждая минута будут наполнены смыслом, даже если этот смысл прост, как рубка дров или кипячение воды.

На четвёртый день я решил уходить. Не потому что надоело — наоборот, я чувствовал, что могу остаться здесь навсегда, прирасти к этой земле, как приросли Анна Степановна и Петрович. Но именно это и пугало. Я ещё не был готов. Мне нужно было пройти дальше, увидеть больше, понять то, что пока ускользало. Чистогаловка стала для меня островком покоя, но я знал: Зона — это не только покой. Это ещё и боль, и страх, и смерть в чистом виде. И я должен был встретиться с ними лицом к лицу.

Попрощался с Анной Степановной утром, когда дождь наконец перестал и сквозь облака пробилось бледное солнце. Она дала мне узелок с едой — хлеб, варёные яйца, кусок солёного сала. Я пытался отказаться, но она только отмахнулась.

— Бери, бери. В дороге пригодится. И вот ещё...

Она достала из комода маленький образок — Николая Угодника — и сунула мне в ладонь.

— Храни тебя Бог, — сказала она. — И возвращайся.

Здесь теперь есть у тебя дом.

Сжал образок в кулаке. Металл был тёплым от её рук. Я хотел сказать что-то важное, достойное момента, но слова застряли в горле. Я просто кивнул, спрятал образок в нагрудный карман и вышел.

Путь мой лежал на восток, к так называемому «могильнику» — месту, где в первые годы после аварии хоронили заражённую технику, грунт, обломки зданий. Знал это место по картам: огромный полигон, обнесённый колючей проволокой, с бетонными траншеями, в которых покоились останки машин, вертолётов, экскаваторов. Говорили, что фон там бешеный — до нескольких рентген в час. Говорили также, что там можно найти интересные вещи: приборы, детали, даже документы. Но меня интересовало не это.

Шел и думал о том, что сказал дед Гриша: «Смерть и жизнь здесь рядом ходят». Могильник был местом, где это утверждение обретало буквальный смысл. Там, среди ржавого металла и радиоактивной пыли, смерть была сконцентрирована до предела. Но именно там, как ни парадоксально, можно было понять что-то важное о жизни. О её хрупкости. О её ценности. О том, что каждый вдох — это уже чудо, которое мы не замечаем, пока не окажемся на грани.

Дорога заняла целый день. Шел через леса, через поля, через заброшенные деревни, названия которых ничего мне не говорили. Пару раз останавливался, чтобы свериться с картой, но карта снова врала: на ней были обозначены до-

роги, которых уже не существовало, и отсутствовали тропы, протоптанные сталкерами и зверями. Я ориентировался по солнцу, по мху на деревьях, по интуиции — и интуиция вела меня верно.

К вечеру я вышел к могильнику. Он открылся мне с холма: огромное поле, окружённое колючей проволокой, с рядами бетонных траншей, уходящих в землю. Над полем стоял низкий гул — не ветер, не техника, а что-то иное, как будто сама земля вибрировала на неслышимой частоте. Включил дозиметр: 2000, 3000, 5000 мкР/ч. Стрелка упёрлась в край шкалы. Я выключил прибор и стоял на холме, глядя на это место.

Солнце садилось, окрашивая небо в грязно-оранжевые тона. Тени от траншей удлинялись, ползли по земле, как чёрные пальцы. Я не пошёл ближе. То, что я искал, нельзя было найти внутри могильника. Оно было здесь, на холме, в точке обзора, в осознании: вот она, смерть. Рукотворная, упакованная в бетон, но всё ещё живая — радиоактивные изотопы распадаются по своему расписанию, и ничто не может их остановить. И вот она, жизнь — во мне, в моём дыхании, в биении сердца, в дрожи холодных пальцев.

Сел на землю, достал тетрадь, записал:

«Могильник. Место, где смерть стала вещью. Её можно потрогать — не рукой, так дозиметром. Её можно измерить, взвесить, упаковать. Но нельзя победить. Можно только принять. И идти дальше».

Ночь я провёл в брошенной сторожке у подножия холма. Спал плохо: просыпался от каждого шороха, от каждого порыва ветра. Дозиметр, который я положил рядом, время от времени потрескивал — фон здесь был повышенный, хоть и не смертельный. Я лежал в темноте и думал о том, сколько людей работало здесь в первые годы после аварии. Солдаты, инженеры, водители. Они свозили сюда заражённую технику, сбрасывали в траншеи, заливали бетоном. Они знали, что каждая минута работы сокращает им жизнь. Но они работали. Не потому что были героями — героизм здесь, повторял я себе, ни при чём. Просто так было нужно.

И ещё я думал о самосёлах. Об Анне Степановне, о Петровиче, о деде Грише. Они тоже знают, что каждый день здесь — это доза. Но они не уходят. Они выбрали это место не для смерти — для жизни. Они растят картошку, держат коз, топят печи. Они живут — полнее, чем многие там, за периметром. И в этом есть какая-то страшная, непостижимая правда.

Под утро мне приснился сон. Стоял на крыше саркофага и смотрел вниз. Внизу была пустота — не тьма, а именно пустота, серое ничто, которое не имело ни цвета, ни глубины. И из этой пустоты доносился голос — не мужской, не женский, не человеческий. Он говорил: «Ты пришёл. Теперь ты часть этого». И я отвечал — во сне, — «Знаю». И просыпался.

Сел, тяжело дыша. Сердце колотилось. За окном светлело. Я понял, что этот сон — не пророчество и не галлюцинация.

Это просто моё подсознание наконец-то догнало сознание и сказало ему то, что я уже знал. Зона приняла меня. Не как героя, не как жертву — как часть себя. Как ещё одного человека, который выбрал реальность.

Собрал рюкзак и вышел из сторожки. Утро было холодным, но ясным. На востоке небо розовело, обещая день без дождя. Я постоял на пороге, глядя на могильник, потом повернулся и пошёл обратно — на запад, к Припяти, к тем местам, которые ещё не видел.

По дороге я думал о том, что вещей у меня осталось немного. Хлеб кончился, сало подходило к концу, вода во фляге была последней. Но это не пугало. Знал, что смогу найти еду — в брошенных домах, у самосёлов, в лесу. Важнее было другое: я терял последние иллюзии. О том, что Зона — это временное убежище. О том, что можно будет вернуться и жить как раньше. О том, что тишина, которую я искал, — это отсутствие звуков.

Тишина, которую я нашёл, была иной. Она была полна голосов — голосов тех, кто жил и умер здесь, кто остался и кто ушёл. Она была полна смысла — того самого, которого мне так не хватало в городе. Она была полна жизни — парадоксально, но именно здесь, в самом сердце смерти, жизнь ощущалась острее, чем где бы то ни было. Шел по дороге, и каждый шаг отдавался в теле. Я чувствовал, как работают мышцы, как воздух входит в лёгкие, как кровь пульсирует в висках. Я был жив. И это было самое главное.

К полудню я вышел к реке — не к Припяти, к какой-то малой речушке, притоку, названия которого не знала даже карта. Вода была прозрачной, на дне лежали жёлтые листья. Сел на берегу, достал флягу, набрал воды. Потом вспомнил про дозиметр — включил, поднёс к воде: 60 мкР/ч. Пить можно, если процедить и прокипятить. Я не стал кипятить. Просто выпил, чувствуя, как холодная вода обжигает горло.

Сидел на берегу и смотрел, как течёт вода. Она текла и текла, не замечая ни меня, ни Зоны, ни радиации, ни времени. Она была старше всего этого. Она будет здесь, когда саркофаг рассыплется в пыль, когда Рыжий лес снова станет зелёным, когда последний самосёл уйдёт в землю. И это было утешительно. Не всё можно уничтожить. Не всё можно заразить.

Достал тетрадь, раскрыл на последней исписанной странице. Карандаш замер. Я хотел написать что-то важное, что-то, что подведёт итог этому этапу пути. Но слова не шли. Тогда я просто нарисовал реку — извилистую линию, уходящую за край страницы. И подписал: «Вода. Живая». Потом я подумал и дописал: «Я тоже».

Закрыв тетрадь, убрал в рюкзак. Солнце поднялось выше, тени стали короче. Пора было идти. Впереди была Припять — город, который я уже видел, но ещё не знал. Впереди была станция — сердце всего. Впереди были новые встречи и новые открытия. А пока — река текла, я дышал, и этого было достаточно.

Поднялся, закинул рюкзак на плечо и пошёл дальше. Последние вещи остались позади — и в прямом, и в переносном смысле. Осталось только то, что внутри. Доза тишины, полученная здесь, вошла в кровь, растворилась в тканях, стала частью меня. И я знал: даже если я выйду отсюда, эта доза останется со мной навсегда. Как образок в нагрудном кармане. Как память о людях, которые выбрали реальность. Как тишина, которая говорит.

Глава 4. Черта

Вышел к Припяти с юга, со стороны бывшего речного порта. Дорога, по которой я шёл, была усыпана битым кирпичом и осколками стекла, хрустевшими под подошвами, как сухой снег. Порт был мёртв: ржавые краны застыли над водой, покосившиеся причалы уходили в реку, баржа, наполовину затопленная, лежала у берега, и вода лизала её ржавый борт с монотонным, чмокающим звуком. Остановился, глядя на эту баржу. Когда-то она возила песок или гравий, может, даже участвовала в строительстве саркофага — кто знает? Теперь она была памятником, как и всё здесь. Памятником труду, который пошёл прахом, памятником жизни, которая остановилась в одночасье.

Включил дозиметр. Прибор ожил, затрещал — часто, нервно, как сверчок в августовской траве. Стрелка поползла вправо: 200, 250, 300 мкР/ч. На причале фон был выше, чем в городе. Машинально отметил это в голове, выключил прибор, убрал в рюкзак. Тело уже привыкло к треску — он стал

частью звукового ландшафта, как шум ветра или плеск воды. Иногда я забывал о нём, иногда он пробивался в сознание и напоминал: ты здесь, ты в Зоне, каждая минута имеет цену.

Пошел вдоль берега, в сторону центра. Припятъ в этот час выглядела иначе, чем в прошлый раз. Может, из-за солнца, которое наконец пробилось сквозь облака и заливало улицы бледным ноябрьским светом. Может, из-за того, что я сам стал другим. Город больше не давил на меня своей мёртвостью. Он казался спящим — не мёртвым, а именно спящим, как будто все его жители просто легли отдохнуть и вот-вот проснутся. Я понимал, что это иллюзия. Но иллюзия была уютной, и я не спешил её разрушать.

На перекрёстке улиц Курчатова и Ленина я остановился, чтобы сориентироваться. Здесь когда-то был гастроном — большое двухэтажное здание с выбитыми витринами. Зашёл внутрь. В торговом зале ещё стояли прилавки, покрытые слоем пыли. На полках — ничего, только ржавые консервные банки, вскрытые и пустые. Кто-то побывал здесь до меня — может, мародёры, может, такие же бродяги, как я. Прошёл по залу, заглянул в подсобку. Там, в углу, лежала груда тряпья — старая униформа, белые халаты, когда-то бывшие белыми, теперь серые, в пятнах плесени. Я наклонился, пощупал ткань. Она была влажной и пахла затхлостью. Ничего полезного.

Уже собирался уходить, когда заметил на стене над прилавком календарь. Точно такой же, как в квартире, где я

ночевал в первый раз — апрель 86-го, Гагарин, зачёркнутые дни. Только здесь последним зачёркнутым числом было двадцать пятое. Двадцать шестое — чистое. Смотрел на эту нетронутую клетку календаря и думал: вот она, черта. Для всего города, для всей страны, для мира. Ночь с двадцать пятого на двадцать шестое апреля разделила время на «до» и «после». И я, родившийся в семьдесят третьем, проживший всю сознательную жизнь «после», только теперь, здесь, в пустом гастрономе мёртвого города, по-настоящему ощутил, что это значит.

Черта — это не просто линия на карте. Это момент, после которого ничто не будет прежним. Для тех, кто жил здесь, — момент, когда завывали сирены и по радио сказали собирать документы. Для ликвидаторов — момент, когда они впервые увидели развал реактора и поняли, с чем имеют дело. Для меня — момент, когда я пересёк колючую проволоку и шагнул в эту тишину. Но была и другая черта — внутренняя. Та, что проходила не по земле, а по душе. И я чувствовал, что подхожу к ней вплотную.

Я покинул гастроном и двинулся дальше, к школе. Она находилась на улице Дружбы народов — название, которое теперь звучало как горькая насмешка. Трёхэтажное здание из белого кирпича, с широкими окнами, многие из которых сохранили стёкла. В вестибюле меня встретил запах сырой бумаги и старых книг. На полу, вперемешку с обломками мебели, валялись учебники — алгебра, физика, русская лите-

ратура. Страницы вздулись от влаги, чернила расплылись. Я поднял один — «Родная речь» за пятый класс. На обложке — берёзка, нарисованная чьей-то детской рукой. Я открыл книгу, прочитал первые попавшиеся строки: «У лукоморья дуб зелёный...» Пушкин. Вечный, не убиваемый Пушкин, который пережил войны, революции, а теперь переживал и радиацию.

Прошел по коридору первого этажа. Классные комнаты зияли распахнутыми дверями. В одной из них на полу лежали противогазы — целая куча, серые, с круглыми глазницами, похожие на мёртвых насекомых. Знал, откуда они: после аварии, когда город уже был пуст, здесь проводили учения для ликвидаторов. Школа стала тренировочной базой. Противогазы, разбросанные по полу, были учебными — или, может, настоящими, просто использованными и брошенными за ненадобностью. Я наклонился, поднял один. Резина была жёсткой, потрескавшейся. Поднес его к лицу, вдохнул запах — пахло тальком и чем-то кислым, старым потом. Я бросил противогаз обратно в кучу.

В соседнем классе на стене висела доска. На ней мелом было написано: «Тема урока: Радиация и её воздействие на организм». Ниже — формулы, графики, слова: «альфа-частицы», «бета-распад», «гамма-излучение». Стоял и смотрел на эту доску, и по спине у меня бежали мурашки. Урок, который так и не состоялся. Дети, которые должны были сидеть за этими партами, узнали о радиации не из учебников,

а из репродукторов, объявивших эвакуацию. Они узнали о ней, покидая свои дома, оставляя игрушки, книги, фотографии — всё, что составляло их жизнь. Они узнали о ней навсегда.

Вышел из школы через заднюю дверь, во двор. Здесь стояли ржавые турники, покосившаяся баскетбольная площадка с обвисшей сеткой кольца, скамейки, заросшие травой. Сел на одну из них, достал сигарету, закурил. Дым поднимался в холодный воздух, таял. Я думал о детях Припяти. О тех, кому в восемьдесят шестом было десять, двенадцать, пятнадцать. Сейчас им около двадцати — мои ровесники или чуть старше. Где они? Кто-то уехал и начал новую жизнь. Кто-то не смог, спился, пропал. Кто-то, возможно, вернулся — как самосёлы, только в другие места. Их разбросало по стране, по миру, но всех их объединяло одно: они были «детьми Зоны». И эта метка, этот невидимый ожог остался с ними навсегда, как остался он со мной — человеком, который пришёл сюда добровольно, много лет спустя, но всё равно стал частью этой истории.

Докурил, бросил окурочек в траву. Пора было идти дальше. Я планировал к вечеру добраться до стадиона, а потом, если хватит сил, выйти к восточной окраине, где, по слухам, находился один из самых больших могильников техники. Но пока я шёл, в голове крутилась мысль о черте. О том, что я пересёк уже много черт — границу, городскую окраину, невидимую линию, отделяющую обычный мир от Зоны. Но самая

главная черта была впереди. Я чувствовал её приближение, как чувствуют перемену погоды — по давлению в висках, по глухому беспокойству в груди, по напряжению, которое нарастало с каждым шагом.

Добрался до стадиона, когда солнце уже начало клониться к западу. Свет стал золотистым, косым, тени вытянулись, пересекая дорогу. Стадион был пуст — трибуны, беговая дорожка, футбольное поле, заросшее молодым лесом. Я прошёлся по беговой дорожке, считая шаги. Когда-то здесь бегали спортсмены, играли дети, сидели зрители с мороженым и семечками. Теперь здесь была только тишина и ветер, который гнал по асфальту сухие листья.

Сел на трибуну, на верхний ряд, откуда открывался вид на город. Припять лежала передо мной как на ладони — девятиэтажки, проспекты, парк с колесом обозрения, трубы станции на горизонте. Красиво, подумал я. По-своему, жутковато, но красиво. В городе я никогда не мог усидеть на месте — всегда куда-то спешил, что-то делал, от чего-то убегал. Здесь я научился сидеть и смотреть. Может быть, это и был главный урок Зоны: остановиться. Перестать суетиться. Просто быть.

Достал тетрадь, раскрыл. Карандаш, уже изрядно сточенный, оставлял бледный след. Я писал:

«Черта. Я всё время думаю о черте. О границе, которую пересёк и которую ещё предстоит пересечь. В городе я думал, что черта — это периметр, колючая проволока, КПП.

Теперь я понимаю: черта — это не линия на карте. Это момент, когда ты перестаёшь быть тем, кем был раньше. Когда старые страхи уходят, а новые ещё не пришли. Когда ты стоишь на пороге и не знаешь, что там, за дверью, но всё равно делаешь шаг.

Сегодня я видел школу. Видел календарь, в котором двадцать шестое апреля осталось чистым. Видел противогазы и учебники. И понял: для тех, кто жил здесь, черта прошла в ту ночь. Для меня она проходит сейчас. Я ещё не знаю, что будет, когда я её пересеку. Но я знаю, что обратной дороги нет. И это — самое страшное. И самое прекрасное».

Я перечитал написанное, усмехнулся. Слишком много слов. Слишком много попыток объяснить то, что не нуждается в объяснении. Но я не мог иначе. Письмо было для меня способом дышать — так же, как ходьба, как курение, как молчание. Оно помогало удерживать равновесие на этой зыбкой грани между рассудком и безумием, между страхом и смирением.

Убрал тетрадь, спустился с трибуны. Солнце садилось, и вместе с ним опускалась температура. Я натянул капюшон, затянул шнурки на ботинках. До темноты нужно было найти ночлег. Знал, что на восточной окраине есть несколько домов, где можно переночевать — целые, с крышами и даже с печками, если повезёт. Я двинулся в ту сторону.

Восточная окраина встретила меня пустырём, за которым начинался лес. На границе пустыря и леса стояли машины

— десятка два грузовиков, БТР, экскаваторов, выстроенных в неровный ряд. Это был не тот могильник, который я видел вчера, а что-то вроде временной стоянки техники, которую, видимо, готовили к дезактивации, но так и не успели обработать. Машины стояли с открытыми дверцами, с пустыми кабинами, глядя на меня слепыми фарами. Я прошёлся вдоль этого железного кладбища, касаясь ладонями холодного металла. Дозиметр трещал не переставая, но я уже не обращал на него внимания.

Возле одного из грузовиков — ЗИЛа с облупившейся зелёной краской — я остановился. В кабине, на сиденье, лежала кепка. Обычная рабочая кепка с пуговкой на макушке, выгоревшая, потёртая. Я открыл дверцу — она подалась с протяжным скрипом, — взял кепку в руки. Она ещё хранила форму головы. Я представил человека, который носил её: водитель, один из тех, кто возил заражённый грунт или бетон для саркофага. Он надевал эту кепку каждое утро, выходя на смену. Он знал, что рискует. Но он надевал её и садился за руль. Где он сейчас? Жив? Умер? Списан по инвалидности? Я никогда не узнаю.

Положил кепку обратно на сиденье, закрыл дверцу. Мне вдруг стало не по себе — не от радиации, не от одиночества, а от этого немого свидетельства чужой жизни. Зона была полна таких свидетельств: вещей, которые помнили своих хозяев. Они молчали, но их молчание было громче любого крика. Я постоял ещё минуту, потом повернулся и пошёл к

домам.

Ночлег я нашёл в двухэтажном бараке на окраине. Здание было старым, ещё довоенной постройки, с толстыми стенами и маленькими окнами. Внутри пахло углём и сухой глиной. На первом этаже кто-то когда-то устроил склад: вдоль стен стояли ящики, пустые, с оторванными крышками. На втором этаже я нашёл комнату с железной кроватью и печкой-буржуйкой. Печка была ржавой, но целой. Решил, что это лучшее место для ночлега за последние дни. Натаскал дров — старых досок из разбитого ящика, веток, собранных на улице, — развёл огонь. Печка загудела, нагреваясь, по комнате поплыло тепло. Снял мокрые ботинки, поставил их сушиться, развесил носки на спинке кровати. Потом сел на пол, прислонившись спиной к тёплому боку печки, и закрыл глаза.

Тепло разливалось по телу, прогоняя холод, который, казалось, уже навсегда поселился в костях. Сидел и слушал, как потрескивают дрова, как гудит огонь, как ветер шуршит за окном. Впервые за долгое время я чувствовал себя почти счастливым. Не радостным — счастье и радость здесь были разными вещами. Счастье было в том, что я жив, что я здесь, что у меня есть огонь и крыша над головой. Радость — это для тех, у кого есть будущее. А счастье — для тех, кто научился жить настоящим.

Ночью я проснулся от звука. Не от ветра, не от треска дров — от чего-то другого. Кто-то ходил внизу, на первом этаже. Сел на кровати, вслушиваясь. Сердце забилось быстрее, но

страха не было — скорее настороженность. Шаги были тяжёлыми, неуверенными, как будто человек шёл в темноте, нащупывая дорогу. Потом раздался голос — хриплый, мужской:

— Есть кто?

Встал, взял фонарь, спустился по лестнице. Внизу, в свете моего фонаря, стоял мужчина. Лет сорока, может, чуть старше, в грязной армейской куртке, с рюкзаком за плечами. Лицо небритое, глаза красные от усталости. Он щурился на свет, прикрываясь ладонью.

— Ты кто? — спросил я.

— Свои, свои, — он опустил руку. — Сталкер. Сергей. Иду с севера, от станции. Думал, тут пусто.

— Тут не пусто, — ответил я. — Тут я.

Он усмехнулся, и усмешка эта была невесёлой — скорее, нервной, как у человека, который привык ждать подвоха.

— Ну, раз ты здесь, может, пустишь к огню? Замёрз как собака.

Я кивнул. Мы поднялись наверх. Сергей снял рюкзак, сел у печки, протянул руки к теплу. Я подбросил дров, огонь вспыхнул ярче. В свете пламени я разглядел его лучше: лицо обветренное, с глубокими морщинами вокруг рта, на тыльной стороне ладоней — шрамы, старые, побелевшие. Он был из тех, кто ходит в Зону давно и всерьёз.

— Давно здесь? — спросил он, не глядя на меня.

— Пятый день.

— Новичок, значит.

— Новичок.

Он кивнул, достал из рюкзака флягу, отхлебнул, протянул мне. Я взял, понюхал — водка. Сделал глоток. Жидкость обожгла горло, провалилась в желудок горячим комком. Я вернул флягу.

— Зачем пошёл? — спросил Сергей. — За артефактами? За металлом?

Я покачал головой.

— За тишиной.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, в котором читалось что-то среднее между сочувствием и презрением.

— Тишины здесь навалом, — сказал он. — Только она, брат, не лечит. Она душу выедает. Ты это ещё поймёшь.

— Может, я за этим и пришёл.

Он хмыкнул, отпил ещё.

— Станный ты. Таких, как ты, здесь либо убивает быстро, либо они остаются навсегда. Третьего не дано.

Мы замолчали. Огонь потрескивал, тени плясали на стенах. Я думал о его словах. Может, он прав. Может, Зона и правда выедает душу — медленно, незаметно, как радиация выедает костный мозг. Но, может быть, в этом и был смысл. Чтобы старая душа, больная, изъеденная городской фальшью, умерла — и на её месте родилось что-то новое. Что-то, что способно жить здесь, в тишине, без лжи, без иллюзий.

Сергей ушёл рано утром, ещё до рассвета. Он попрощал-

ся коротко, кивнул, сказал: «Удачи, сталкер» — и исчез в серых сумерках. Я остался один. Растопил печку снова, согрел остатки воды во фляге, выпил. Жидкость была горячей, почти обжигающей. Пил медленно, чувствуя, как тепло растекается по телу.

Пора было решать, куда идти. Сидел у печки, листал тетрадь, перечитывал свои записи. Карта, которую я чертил, становилась всё более подробной, но на ней по-прежнему оставались белые пятна. Одно из них — северный сектор, где находилась станция и куда я ещё не ходил близко. Другое — западный, где, по слухам, располагались заброшенные военные части. Третье — южный, откуда я пришёл. Четвёртое — восточный, с могильниками и Рыжим лесом. Я обвёл карандашом точку, где находился сейчас. Прикинул расстояние.

До станции было километров десять. Я мог дойти туда за полдня, если не останавливаться. Но я не хотел идти на станцию снова — во всяком случае, не сейчас. Мне нужно было что-то другое. Может быть, вернуться в Чистоголовку, к Анне Степановне. Может быть, поискать Игната. А может, просто бродить, пока ноги держат, впитывая эту землю, эту тишину, эту странную, ни на что не похожую жизнь.

Сложил тетрадь, закинул рюкзак за плечи. Вышел из барака. Утро было холодным, но ясным. Солнце только-только поднялось над лесом, и лучи его были косыми, золотыми, почти негреющими. Я постоял на пороге, втянул носом воздух — пахло морозной свежестью и дымом. Где-то далеко

кричала птица.

Пошёл на север, в сторону станции. Не потому что хотел туда попасть — просто ноги сами выбрали направление. Дорога шла через лес, потом через пустырь, заросший кустарником. Шагал и думал о том, что Сергей сказал на прощание: «Третьего не дано». Может, он прав. Может, Зона действительно не терпит полумер: либо ты уходишь отсюда навсегда, либо остаёшься навсегда. Но, может быть, есть и третий путь. Не физический — внутренний. Уйти физически, но остаться душой. Или остаться физически, но умереть душой — как те мародёры, которые ходят сюда только за наживой и ничего не видят, ничего не чувствуют.

Я не знал, какой путь выберу. Но я знал, что черта, о которой я думал все эти дни, уже близко. Она не была линией на карте. Она была внутри меня — там, где страх встречается с решимостью, где прошлое встречается с будущим, где жизнь встречается со смертью. И я шёл к этой черте, не ускоряя и не замедляя шаг, потому что знал: когда придёт время, я её пересеку.

К полудню я вышел к небольшому озеру, спрятанному в лесу. Оно было круглым, как блюдо, с тёмной, почти чёрной водой. Вокруг росли сосны, и их отражения лежали на поверхности, неподвижные, как нарисованные. Сел на берегу, достал еду — последний кусок хлеба, яйцо. Ел медленно, глядя на воду.

Озеро было странным. Вода в нём не двигалась — ни ря-

би, ни течения, ни всплеска рыбы. Как будто оно было мёртвым. Включил дозиметр, поднёс к воде: 400 мкР/ч. Высократно, но не смертельно. Я выключил прибор, убрал.

И вдруг меня накрыло. Без предупреждения, без причины — просто волна чувств, поднявшаяся откуда-то изнутри и захлестнувшая с головой. Сидел на берегу мёртвого озера посреди радиоактивного леса, вдали от дома, от людей, от всего, что было мне знакомо, — и чувствовал себя так, как будто только что родился. Всё, что было до этого — город, работа, мать, неудавшиеся романы, пьянки, пустые разговоры, — всё это отступило, стало плоским, ненастоящим, как декорация в театре. А здесь, сейчас, в этом моменте, была настоящая жизнь. Не удобная, не безопасная, не правильная — но настоящая.

Закрыв глаза и сидел так, слушая тишину. Она была плотной, как вода в озере. Она обволакивала, проникала в уши, в поры, в каждую клетку. И в этой тишине я слышал голос. Не снаружи — внутри. Он звучал как мой собственный, но слова были не мои. Или, может, мои — те, которые я никогда не решался произнести.

«Ты пересёк черту, — говорил голос. — Теперь ты здесь. Теперь ты часть этого. И обратной дороги нет. Но ты и не хочешь обратно. Ты хотел тишины — ты её получил. Ты хотел правды — вот она. Она некрасивая, она страшная, она пахнет смертью. Но она — правда. И этого достаточно».

Я открыл глаза. Озеро всё так же лежало передо мной,

чёрное, неподвижное. Сосны всё так же отражались в нём. Ничего не изменилось. Но изменился я. Что-то внутри меня встало на место — как будто пазл, который я собирал всю жизнь, наконец сложился.

Встал, отряхнул штаны. Пора было идти. Я не знал, куда. Но это было неважно. Важно было то, что черта осталась позади. Я пересёк её — не заметив, не почувствовав, но пересёк. И теперь начиналось что-то новое.

К вечеру я вышел к станции. На этот раз я не стал подходить близко — остановился на том же холме, откуда видел саркофаг в первый раз. Трубы всё так же торчали в небо, серые, с красно-белыми полосами. Саркофаг всё так же стоял на месте — огромный, молчаливый, как надгробие. Сел на землю, достал тетрадь.

Писал я долго, пока солнце не село и буквы не стали сливаться в сумерках. Я писал о том, что видел, о том, что чувствовал, о тех, кого встретил. Об Игнате, об Анне Степановне, о Сергее. О детях, которые не пришли на урок про радиацию. О водителе, оставившем кепку в кабине ЗИЛа. О себе — том, кто пересёк границу и не заметил этого, и о себе — том, кто пересёк черту и заметил.

Последние строки были такими:

«Зона — это не колючка. Зона — это не радиация. Зона — это люди. Те, кто ушёл, и те, кто остался. Те, кто умер, и те, кто ещё жив. Они все здесь. Их голоса в ветре, их следы в пыли, их лица в оконных стёклах. Я пришёл сюда, что-

бы убежать от людей. А оказалось — пришёл, чтобы найти их. Настоящих. Тех, кто не боится правды, какой бы горькой она ни была. Тех, кто выбрал реальность. Я не знаю, сколько ещё пробуду здесь. Может, день. Может, месяц. Может, всю оставшуюся жизнь. Это неважно. Важно, что я здесь. Что жив. Что слышу тишину — и она говорит со мной. И ещё важно, что я наконец-то понял: черта — это не конец. Это начало».

Захлопнул тетрадь. Солнце село, и Зона погрузилась в темноту — густую, почти осязаемую, как вода в том лесном озере. Сидел в этой темноте, не зажигая фонаря, и слушал, как дышит земля. Она дышала — ровно, глубоко, как спящий великан. И я дышал вместе с ней.

Глава 5. Тишина как звук

Ночь ушла незаметно, растворилась в сером рассвете, который не столько наступил, сколько просочился сквозь тучи, как вода сквозь марлю. Пробуждение вышло медленным, неохотным — тело ещё помнило тепло печки, но воздух в бараке уже остыл, и дыхание вырывалось изо рта белёсым парком. Снаружи, за мутным окном, ветер раскачивал верхушки сосен, и этот размеренный скрип стволов был первым звуком нового дня.

Подъём случился без мыслей, на одних инстинктах. Руки сами потянулись к ботинкам, ноги — к печке, в которой ещё теплилась пара угольков. Несколько щепок, береста, осторожный выдох — и пламя ожило, лизнуло чугунный бок, на-

полнило комнату дрожащим светом. Тепло пошло волнами, оседая на коже, забираясь под одежду.

В кружке, оставленной с вечера, ещё плескалась вода — ледяная, с металлическим оттенком, как будто вобравшая в себя вкус старой жести. Глоток за глотком она уходила внутрь, и вместе с ней просыпалось сознание. День пятый? Шестой? Счёт потерялся где-то между Чистоголовкой и восточным могильником, между встречей с Сергеем и одинокой ночёвкой у озера. Время здесь измерялось не часами, а переходами от одного состояния к другому: холод — тепло, голод — сытость, страх — покой.

Завтрак вышел скудным: остатки хлеба, крошащегося на пальцах, и тонкий ломоть сала, почти прозрачный на свет. Еда исчезала быстро, оставляя после себя лишь соль на губах и лёгкое разочарование — тело требовало большего, но припасы подходили к концу. Впрочем, голод здесь ощущался иначе, чем в городе. Там он был тупой, ноющий, смешанный с отвращением к самой необходимости есть. Здесь — острый, почти радостный, как напоминание о том, что ты ещё жив, ещё функционируешь, ещё способен желать.

Сборы вышли короткими. Рюкзак, полегчавший за эти дни, сидел на плечах привычной тяжестью. Тетрадь — в боковой карман. Дозиметр — под руку. Образок Николая Угодника, подаренный Анной Степановной, по-прежнему лежал в нагрудном кармане, ощущаясь то ли оберегом, то ли просто тёплым кусочком металла. Выход на улицу обдал сы-

ростью и запахом хвои. Лес стоял мокрый, нахохлившийся, с веток срывались капли, падая за шиворот и скатываясь по спине холодными дорожками. Дорога, едва угадывающаяся под слоем прелых иголок, уводила прочь от барака, вглубь, туда, где за деревьями угадывался просвет — край города или, может, очередной пустырь.

Ноги шагали сами, без приказа, без направления. Шаг, ещё шаг, ещё. Вдох — выдох, вдох — выдох. Постепенно мысли, до этого скачущие, как испуганные белки, начали успокаиваться, укладываться в ровный ритм. Ходьба стала медитацией, способом отключить внутренний монолог и просто слушать.

Именно тогда и пришла тишина. Не как отсутствие звуков — звуков как раз хватало. Ветер шумел в кронах, где-то далеко стучал дятел, под ногами хрустели ветки, в рюкзаке позвякивала фляга. Но всё это — шум, треск, стук — не нарушало её, а, наоборот, подчёркивало, делало глубже, плотнее. Как чёрный бархат, на котором алмазы кажутся ярче. Как пауза в музыке, которая важнее самой ноты.

Остановка случилась сама собой — ноги замерли на краю поляны, залитой бледным солнечным светом. Посередине, в окружении жухлой травы, стоял остов трактора «Беларусь», ржавый, без колёс, с задранными к небу капотом. Машина давно умерла, но в её неподвижности было что-то почти торжественное — как у памятника, поставленного не в честь кого-то, а просто так, для напоминания.

Прибор в руке ожил, затрещал. Стрелка дрогнула, поползла вправо: 120, 140, 160 мкР/ч. Возле трактора фон поднялся — видимо, машина участвовала в дезактивационных работах и набрала в металл радиоактивной пыли. Пальцы сами выключили тумблер, и треск оборвался, оставив после себя звенящую пустоту в ушах.

Вот тогда-то и стало слышно. Не ушами — всем телом. Тишина здесь была не просто отсутствием шума. Она была субстанцией, средой, в которую погружаешься, как в воду. У неё была плотность — как у холодного киселя. Был вкус — что-то среднее между озоном и сухой пылью. Был даже цвет: если закрыть глаза, она окрашивалась в серый, с лёгкой голубизной по краям.

В городе тишина была другой — мёртвой, искусственной, как в ватной комнате психушки. Её создавали стены, стеклопакеты, ковры на стенах. Она глушила звуки, но не рождала ничего взамен. Здесь же, в Зоне, тишина была живой. Она дышала, двигалась, говорила — не словами, а какими-то языковыми сигналами, которые мозг не мог расшифровать, но тело понимало без перевода.

В какой-то момент возникло странное ощущение — как будто всё вокруг: лес, трактор, облака, сама земля — замерло в ожидании. Как будто сейчас, сию секунду, должно произойти что-то важное. Сердце сбилось с ритма, ладони стали влажными. Но ничего не произошло. Только ветер переменялся, задул с севера, принес с собой едва уловимый запах

— не то гари, не то химии, не то просто холода. Ноги сами опустились на землю. Спина прижалась к шершавому стволу сосны. Глаза закрылись. И в этой внутренней темноте, за закрытыми веками, началось что-то странное — как будто сознание, освобождённое от необходимости обрабатывать зрительные образы, перенастроилось на слух. И слух этот стал необычайно острым.

Слышно было, как осыпается песок в кротовой норе в десяти шагах левее. Как ветка, надломленная ветром, трётся о соседнюю, издавая звук, похожий на тихий стон. Как где-то на грани восприятия пульсирует низкий, инфразвуковой гул — не то далёкий трансформатор, не то сама земля вибрирует на своей ноте. Всё это вместе складывалось в симфонию — странную, дисгармоничную, но завораживающую.

Так протекла минута, может, десять, может, час. Время снова потеряло очертания. А когда глаза открылись, мир стал чуть-чуть другим — как будто с него сдёрнули прозрачную плёнку, и краски стали ярче, а контуры резче.

Дальше путь лежал мимо старых дач — вернее, того, что от них осталось. Посёлок садоводов, расположенный на южной окраине зоны отчуждения, выглядел так, будто его накрыло гигантской волной, которая, схлынув, оставила после себя лишь остовы домов и перепутанные водоросли заборов. Доски сгнили и провалились, крыши просели, яблони одичали и разрослись в колючие заросли. Тишина здесь стала ещё плотнее — может, оттого, что каждый дом был малень-

кой капсулой памяти, хранившей запахи, голоса, смех.

В одном из таких домов, чудом сохранившем застеклённую веранду, нашёлся приют на несколько часов. Стекла были мутными от пыли, но свет пропускали. На полу валялись старые журналы — «Огонёк», «Наука и жизнь» за восемьдесят пятый, восемьдесят шестой. Обложки выцвели, но лица на них ещё улыбались — космонавты, передовики производства, артисты. Мир, которого больше нет. Пальцы листали страницы, глаза скользили по заголовкам, не вчитываясь. Мысли текли своим чередом. Думалось о том, что тишина, за которой шёл сюда, оказалась совсем не такой, как представлялось. Она не была пустотой. Она была наполнением — всем тем, что остаётся, когда уходят слова. Словами здесь всё было отравлено — ложью, обещаниями, лозунгами. Тишина же была честной. Она ничего не обещала. Просто была.

Вспомнился Игнат, его слова: «Тишина здесь живая. Она говорит». Тогда они показались метафорой, красивой фразой бывалого человека. Теперь же, сидя на полу заброшенной дачи, в окружении старых журналов и запаха тлена, эти слова обрели плоть. Тишина действительно говорила. Только язык её был недоступен сознанию — он воспринимался напрямую, через кожу, через кости, через то самое «я», которое здесь постепенно истончалось, теряло границы, сливалось с окружающим.

В городе тишина пугала — она была предвестником беды, знаком того, что что-то сломалось, отключилось, умер-

ло. Здесь тишина была естественным состоянием. Мир без человека — не мёртвый, не живой, а какой-то третий, особый. И этот третий мир говорил на своём языке, который, может быть, и был когда-то родным для всех людей, но забылся за ненадобностью. Ладонь сама потянулась к тетради. Карандаш, уже изрядно сточенный, лёг в пальцы, как влитой. На чистой странице одна за другой появлялись строки — не мысли, не выводы, а скорее отпечатки ощущений, попытка перевести с языка тишины на язык человеческий.

«Тишина — это не когда ничего не слышно. Это когда слышно всё, но ничто не тревожит. Когда ветер — не шум, а дыхание. Когда шаги — не стук, а пульс. Когда собственное сердце — не насос, а метроном, отмеряющий оставшееся время. Здесь я учусь слушать. И, кажется, начинаю слышать».

Карандаш замер. Перечитанное показалось слишком вычурным, но переписывать не хотелось. Осталось как есть — свидетельство момента, не больше.

Вечер застал на берегу Припяти, в том месте, где река делает плавный изгиб и течение замедляется, образуя широкую заводь. Вода здесь была тёмной, маслянистой, с радужными разводами у берега. На противоположной стороне чернел лес — стена деревьев, подступающих к самой воде. Костерок разгорелся не сразу — дрова отсырели, и пришлось повозиться, раздувая пламя, пока оно не схватилось как следует. Огонь занялся, затрещал, выбросил в небо сноп искр.

Свет заплясал на воде, на стволах сосен, на собственном лице, отражаясь в зрачках.

У огня, в круге тепла и света, тишина стала иной — уютной, почти домашней. Она больше не давила, не требовала расшифровки, а просто обволакивала, как старое одеяло. В котелке закипала вода, брошенная в неё горсть сухих трав (мята? душица?), найденных в одном из домов, наполнила воздух пряным запахом. Питьё получилось горьковатым, но горячим — и это было сейчас важнее всего.

Где-то на середине кружки слух выхватил из тишины новый звук — далёкий, едва различимый. Не треск, не шорох — ритмичный, металлический, как будто кто-то бил молотком по железу. Звук шёл с той стороны, где, по прикидкам, находилась станция. Может, работали на саркофаге — и в девяносто четвёртом там ещё велись какие-то работы, укрепляли конструкции, меняли оборудование. А может, просто ветер раскачивал какую-то незакреплённую деталь, и она билась о бетон.

Звук этот, вплетаясь в тишину, не нарушал её, а дополнял — как далёкий колокол дополняет тишину вечернего поля. Он напоминал, что Зона — не музей, не заповедник, а место, где всё ещё что-то происходит. Где жизнь, пусть и в таких странных формах, продолжается.

Ночь опускалась медленно, по-осеннему. Краски гасли одна за другой, звуки становились приглушённые, мир сворачивался до размеров круга, освещённого костром. В этом

круге было всё: тепло, свет, запах дыма, ощущение собственного тела, сидящего на корточках у огня. Всё остальное — лес, река, город, станция, сама Зона — отступило во тьму, стало неважным, несуществующим. И тогда, в этой сжавшейся до точки вселенной, пришло понимание. Не мысль — мыслей как раз не было. Именно понимание — телесное, глубинное, как знание того, где верх, а где низ. Тишина — это не свойство места. Это свойство восприятия. Тишина — внутри. Она всегда там была, но голоса мира, внешнего и внутреннего, заглушали её. Здесь, в Зоне, эти голоса умолкли — и стало слышно то, что было всегда.

Когда-то, ещё в городе, мечталось об абсолютной тишине — такой, в которой исчезает всё, включая самого себя. Теперь же открылось другое: настоящая тишина — это не исчезновение, а присутствие. Присутствие себя — настоящего, без масок, без ролей, без суеты. Присутствие мира — такого, какой он есть, без прикрас и без ужаса. И присутствие того третьего, чему нет названия — Бог, судьба, закон, — что стоит за всем этим и молча наблюдает.

Спать лег прямо у костра, подложив под голову рюкзак. Небо над головой было чужим — звёзды здесь располагались иначе, не так, как над городскими крышами. Может, из-за того, что не было засветки, и они проступали ярче, чётче. А может, из-за того, что сама земля сдвинулась со своей оси — и вместе с ней сдвинулось всё мироздание.

Сон пришёл не сразу. Сначала долго лежал с открытыми

глазами, глядя в эту бездну над собой. Потом веки отяжелели, и реальность начала расплываться, смешиваясь с образами прошедшего дня. Лес, трактор, дача, журналы, лицо Игната, морщины Анны Степановны, противогазы в школьном коридоре — всё это проплывало перед внутренним взором, наслаиваясь друг на друга, образуя причудливый коллаж. В какой-то момент сознание ухнуло вниз, как в яму, и наступило ничто — чёрное, плотное, без сновидений. А потом — рывок обратно, к свету, к звукам. К треску углей, к плеску воды, к далёкому крику ночной птицы.

Подъём случился резко, как будто кто-то толкнул в плечо. Тело село само, глаза распахнулись. Костер почти догорел, только пара багровых точек светилась в золе. Вокруг стояла всё та же тишина — плотная, как вода в ночной реке. Но теперь она не была чужой. Она была знакомой, почти родной.

Пальцы нащупали дозиметр, включили. Прибор зашёлся треском — громче обычного. Стрелка метнулась вправо: 300, 350, 400 мкР/ч. За ночь фон поднялся. Или, может, просто влажность изменилась, и прибор чудил. Гадать не хотелось. Тумблер щёлкнул, и треск оборвался.

В кружке ещё оставалась вода — холодная, с привкусом золы. Глоток, другой. Потом — несколько движений, чтобы разогнать кровь: руки вверх, наклоны, приседания. Мышцы отзывались привычной болью, суставы хрустнули. Тело работало — и это было хорошо. Впереди ждал новый день. Куда идти — по-прежнему оставалось неясным. Но теперь эта

неясность не тревожила. Она стала частью тишины, частью этого странного бытия, в котором планы и цели не имели значения. Был только путь — от одного момента к другому, от одного вдоха к следующему.

Дорога увела от реки вглубь, к заброшенному пионерскому лагерю, о котором рассказывал Игнат. Лагерь назывался «Изумрудный» — название, не вяжущееся с серостью окружающего пейзажа. Корпуса, выкрашенные когда-то в зелёный цвет, теперь облупились до бетона. На плацу перед столовой ржавел флагшток, на котором до сих пор болтался обрывок флага — не разобрать, какого.

Тишина здесь была иной — не лесной, не городской, а какой-то особенно густой, замешанной на детских голосах, которых больше нет. Качели скрипели на ветру, и этот скрип звучал как вопрос, оставшийся без ответа. Двери корпусов были распахнуты, в спальнях комнатах — двухъярусные кровати с проржавевшими сетками, тумбочки, на одной из них — плюшевый медведь с оторванной лапой. В столовой, под потолком, ещё висел транспарант: «Приятного аппетита!» Буквы выцвели, но читались. Столы стояли ровными рядами, как будто отряд только что ушёл на линейку и вот-вот вернётся. На одном из столов — алюминиевая кружка, перевернутая вверх дном. На подоконнике — стопка тетрадей, разбухших от сырости. Детские диктанты, контрольные. Почерк старательный, с нажимом. Ошибки, исправленные красной пастой.

Выходить не хотелось. Что-то держало здесь, среди этих вещей, пропитанных памятью. Может быть, то же, что держало в Зоне Анну Степановну и Игната. Ощущение, что, покинув это место, предашь его. Предашь тех, кто здесь был, кто смеялся, кто писал эти диктанты и ел из этих тарелок. Они не выбирали — их вывезли, спасая от невидимой смерти. Но память о них осталась, и она требовала свидетеля.

Свидетель нашёлся. Не здесь — внутри. Тот самый внутренний голос, который раньше только и делал, что твердил о пустоте, теперь зазвучал иначе. «Ты видишь, — сказал он. — Ты помнишь. Этого достаточно». И впервые за долгое время внутри наступило спокойствие — не равнодушие, а именно спокойствие, похожее на то, какое бывает после долгого плача.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.